Проверено 1938 г.

ОТДѢЛЪ IV
III-г
Вятской публ. библ. № 2116.

ЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ
КАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

ФОНЪ-ВИЗИНЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

С. М. Бриліанта

Съ портретомъ Ф. Визина, гравированнымъ по рисунку И. Панова

ЦЕНЗУРОВАНО

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ТИПОГРАФІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»
Бол. Подъяч., № 39
1892

272409

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

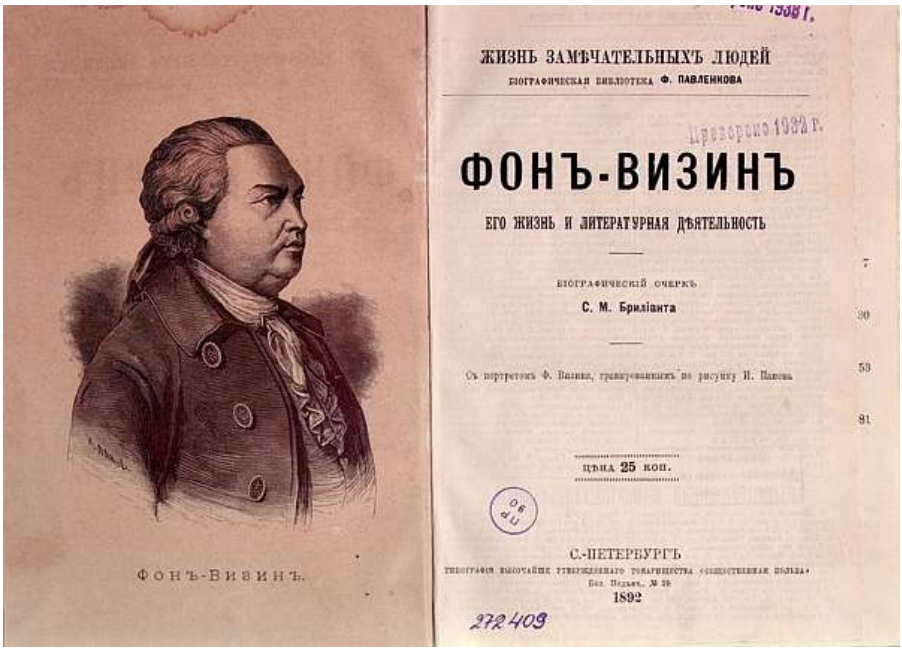
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы — профессия.

- Семен Брилиант
  - Несколько вступительных слов
  - ГЛАВА I
    - 1
    - 2
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21

○ 22

Семен Брилиант
Фонвизин: его жизнь и литературная деятельность

С портретом Д. И. Фонвизина, гравированным по рисунку И. Панова.



Фонъ-Визинъ.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

Препровожено 1892 г.

ФОНЪ-ВИЗИНЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

С. М. Брилианта

Съ портретомъ Ф. Визина, гравированнымъ по рисунку И. Панова

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»

Бол. Подьяч., № 39

1892

272409

Несколько вступительных слов

Фонвизин *на досуге* написал две комедии и несколько журнальных статей. Его сочинения, кроме “Недоросля”, вполне почти преданы забвению, по крайней мере, до той поры, пока проснется у нас интерес к памятникам истории и литературы. Его характер подвергался сильным колебаниям, образование было далеко не полно, общественная или служебная деятельность не оставила никаких следов… Что же дает право на особый интерес биографии автора? Ответ заключается в общем характере его произведений, как крупных, так и мелких. Холодный, рассудочный, но острый и наблюдательный ум, живой темперамент и воображение позволили ему занять первенствующее место в сатире, которая играла господствующую роль в литературе того времени. Положение это не было случайным; оно явилось ярким отражением просветительной поры века, получившей развитие под влиянием идей Запада. Первые источники этого влияния отыскать и указать так же трудно, как начало многих явлений в природе, но оно росло и крепло с конца XVII до конца XVIII века, образовав, в общем период законченного, цельного характера.

Достоинства и недостатки этого периода одинаково рельефно отразились на сочинениях и личном характере Фонвизина. Каждое слово в творениях Фонвизина, каждое движение в его общественной и даже чисто личной жизни находится в полной и *явной* связи с историей века. В нем самом прошлое и — с точки зрения, разумеется, ему современной — настоящее и будущее русского человека.

“Недоросль” останется вечным *памятником* прошлому (XVIII. — *Ред.)* веку, памятником в литературном и художественном смысле этого слова; но этот памятник дает богатый материал для всестороннего понимания прошлого только в связи с характеристикой самого Фонвизина, его отношений с императрицей и графом Паниным и места, занимаемого автором в литературном течении века. Подобно тому, как *подлинники,* с которых он писал своих героев, служили автору натурой, так точно одни исторические факты общественной и государственной жизни могут придать его портрету тот жизненный колорит, без которого краски были бы мертвы при всей верности изображения. Вне живой, деятельной среды, его окружающей, существование Фонвизина безлично.

При написании настоящего очерка кроме полного собрания

сочинений автора использовались материалы по истории и литературе прошлого века. Они почерпнуты из изданий Академии наук и некоторых сочинений, монографий и статей академика Л. Н. Майкова, А. Пыпитина, профессора Веселовского, Корсакова и др. Материалы чисто биографического характера перечислены обстоятельно в библиографической заметке почтенного П. А. Ефремова в редактированном им и изданном Глазуновым полном собрании сочинений Фонвизина.

ГЛАВА I
Детство и юность. — Служба и начало литературной деятельности. — «Бригадир»

1

“Сатиры смелый властелин”, как сказал о Фонвизине Пушкин, был потомком одного из рыцарей-меченосцев, следовательно, не русского происхождения. В царствование Ивана Грозного, во время войны с Ливонией, был взят в плен барон Петр Фонвизин, потомки которого скоро обрусели. Отец знаменитого нашего автора, Иван Андреевич Фонвизин, служил в ревизион-коллегии и имел дом в Москве, недалеко от основанного тогда университета. По словам сына, отец был человек большого здравого рассудка, “но не имел случая, по тогдашнему образу воспитания, просветить себя ученьем”. Однако он читал все русские книги, особенно любил историю древнюю и римскую, “Мнения Цицероновы” и переводы нравоучительных книг, словом, старался исчерпать литературу эпохи Петра I и был одним из тех, которые ревностно шли и вели своих детей по пути, указанному великим преобразователем. Служба отца, его характер и семейная жизнь — все свидетельствует о том, что и прошлый век, который привыкли считать вконец испорченным, сохранял свои здоровые элементы. Отец Фонвизина краснел, когда при нем кто-нибудь говорил ложь. В те времена, когда лихоимство не преследовалось ни судом, ни даже общественным мнением, когда отец учил сына подбирать к одному делу два указа, смотря по количеству “документов”, положенных под сукно, когда виноватый платил за вину, а правый — за правду и “все довольны были”, когда решить дело за одно жалованье, по мнению Советника, было “против натуры человеческой”, — в те времена, повторяем, отец Фонвизина никогда не принимал подарков: “Государь мой, — говаривал он просителю, — сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника, извольте отнести ее назад, а принести законное доказательство вашего права”.

Отец был женат два раза, и жизнь в семье была всегда мирная. Первую женитьбу отца Фонвизин описывает как подвиг великодушия, подвиг несколько странного рода по современным понятиям, но, быть может, не выходивший из рамок добродетельных нравов патриархальной старины. Родной брат отца вошел в неоплатные долги, и последний женился на одной

вдове-старухе семидесяти лет (!), которая обязалась уплатить долги брата. Фонвизин говорит, что отцу было тогда 18 лет, и старуха в него влюбилась. Она прожила еще 12 лет с молодым мужем, который “старался об успокоении ее старости, как должно христианину ”.

Наш автор, который, конечно, знал эту историю из уст отца, замечает, впрочем, в своем “Признании”: “В наш век не встречаются уже такие примеры братолюбия, чтоб молодой человек пожертвовал собою, как отец мой, благосостоянию своего брата”. Доброе старое время! Мать Фонвизина была женщина с тонким умом и чутким сердцем. Хорошая хозяйка, она была в то же время добра и снисходительна к слугам. Таким образом, отношения в семье Фонвизина нисколько не напоминают те нравы, которые он изобразил в своей сатире. Он должен был всегда отдыхать душою в семье от любых волнений, особенно благодаря нежной дружбе сестры, умной и хорошей, переписка с которой — неизменно продолжавшаяся всю жизнь — дает наилучший материал для его собственной биографии.

По словам Фонвизина, он не помнит себя неграмотным. В четыре года отец уже учил его. Это обстоятельство было, конечно, большою редкостью в прошлом веке. Рядом с ученьем шло воспитание. Последнее было такого рода, каким и теперь далеко не все могут похвастать. Достоинство его заключалось, конечно, не в особых педагогических приемах; просто ребенок получал все то хорошее, что может родиться из здравого смысла и желания видеть в сыне со временем честного человека. Мальчику удавалось всегда легче добиться желаемого прямым путем, чем хитростью. Таким образом, приучался он к чистосердечию и не имел надобности скрывать что-либо от родных.

Детские впечатления впоследствии автор подкрепил наблюдением. Идеи Руссо и других философов века о воспитании восприняты были им не только теоретически: в своем “Признании” он учит современников не оставлять без внимания малейших поступков детей, ибо в поступках непременно выражаются их душевные свойства, и, указывая детям во всем прямой путь, — “вкоренять в них привязанность к истине и приучать к чистосердечию”.

Умный и впечатлительный ребенок быстро развивался. Игры его не отличались от игр других его сверстников. Полученные однажды в подарок карты “с красными задками” составили эпизод, который остался в его памяти на всю жизнь. Дядьки и няньки рассказывали ему сказки, и однажды мужик из родовой деревни так напугал его рассказом о мертвецах, что он никогда с тех пор не оставался охотно в темноте. К мертвецам же, по

словам Фонвизина, он в течение жизни привык, “теряя людей, любезных сердцу”.

Однако сказками крепостных не ограничилось его развитие, как у многих сверстников. Отец заставлял его читать “у крестов”, познакомив таким образом со славянским языком. Притом чтение не было бессмысленным механическим процессом. “Перестань молоть, — кричал отец, когда мальчик начинал торопиться, — или ты думаешь, что Богу приятно твое бормотанье”. Набожность отца послужила, таким образом, на пользу сыну. Отец останавливал его и объяснял тщательно места, которые, по его мнению, мальчик не мог понять самостоятельно.

В 1755 году основан был в Москве университет, и отец немедленно отдал сына в университетскую гимназию. Таким образом, Фонвизин был одним из первых, вместе с Потемкиным и другими прославившимися впоследствии “орлами” Екатерины, учившихся в гимназии и университете. Главной целью обучения в гимназии было научить читать, писать и говорить *сколько-нибудь* по грамматике. Так говорит Державин. Уроки продолжались от семи до одиннадцати и от часу до пяти. Программа была гораздо обширнее вышеозначенной. В нее входили закон Божий, история, география, арифметика, геометрия и фортификация; языки латинский, французский и немецкий; рисование, музыка и фехтование. Таким образом, гимназия должна была подготовлять вполне образованных людей, в духе петровской реформы, но… человек лишь предполагает. Где было взять учителей? Благих предначертаний было много, исполнителей — мало. Итак, цель далеко не достигалась, но приобретенное на пути к ней уже составляло громадное богатство. Классы делились параллельно, особые для шляхтичей, то есть дворян, особые для “протчих” — разночинцев. И здесь, как в семье, по мысли Шувалова и других, обучение “моральное” должно было занимать не последнее место.

Ни хороших учебников, ни книг для чтения не было. Только сочинения Ломоносова, напечатанные в академической типографии, присылались в университет. Из других русских авторов отдельно печатался в это время Сумароков: его трагедии “Хорев”, “Синав и Трувор”, “Гамлет”, “Аристон”. Моральное воспитание черпало много из этих произведений. “Journal Etranger” хвалит “Синава” (“Sinav et Trouver”, перевод князя А. Долгорукова, 1755 год) за те нравственные понятия, которые Сумароков проповедует устами своих героев. Таким образом, чтение и театр начинали заменять “буйные забавы” Митрофанов. Рядом с этими произведениями в руки гимназической и университетской молодежи попадали не только “Телемак”, но и “Похождения маркиза Глаголя”, “Клевеланд” и другие

переводные романы. Многое в этих романах льстило тщеславию, мечтательной лени и невежеству. В “Похождениях маркиза Глаголя” все действие вертится вокруг светских обязанностей, соединенных с “благородством” титула, и беззастенчиво, во имя будто бы нравственности, превозносятся самые извращенные понятия; но впечатлительная юность даже и в этой литературе — не говоря уже о знаменитом “Телемаке”, образцовом чтении века — находила много хорошего. Современник Фонвизина, известный поэт И. И. Дмитриев говорит, что благодаря романам этим он *в первый раз* услышал имена Буало, Мольера, Кальдерона и пожелал с ними познакомиться. “Похождения” Клевеланда и маркиза Глаголя возвышали, по словам его, душу и возбуждали желание следовать благородным примерам.

“Как бы то ни было, я должен с благодарностью вспоминать университет”, — говорит сам Фонвизин.

Мы не отделяем здесь гимназию от университета, так как и в действительности не было тогда той грани, которая образовалась впоследствии. Из воспоминаний Фонвизина узнаём, как шло тогда преподавание. По латинскому языку проходили Юлия Цезаря, Корнелия Непота, Цицерона и Вергилия. Учитель латинского языка приходил на экзамен в кафтане и камзоле; на кафтане было пять пуговиц, а на камзоле — четыре. “Удивленный сею странностью” Фонвизин спросил о причине.

“Пуговицы мои вам кажутся смешны, — отвечал преподаватель, — но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, — продолжал он, ударив по столу рукой, — извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. Со спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете”.

Имена лучших учеников печатались в газетах.

В 1759 году в “Московских ведомостях” (№ 64) напечатано было извещение директора казанской гимназии: “Наиприлежнейшими себя оказали и отменную похвалу заслужили: гвардии капрал Николай Левашев, гвардии же солдат Сергей Полянский и солдат Гаврила Державин”. Само собою разумеется, что чины эти были за ними только записаны в приказах. Насколько похвалы означали приобретенные знания, свидетельствует эпизод получения Фонвизиным медали. Учитель географии был тупее учителя латинского языка и не сумел даже фокусом подготовить учеников к экзамену. Поэтому на вопрос: “Куда течет Волга?” — один отвечал “в *Черное море”,* другой — “в

Белое”. Фонвизин “с таким видом простодушия” отвечал *“не знаю”,* что экзаменаторы “единогласно” присудили ему медаль. Однако Фонвизин благодаря своим природным дарованиям и любознательности вынес некоторые познания, особенно в языках, а “паче всего получил вкус к словесным наукам”.

Склонность к писанию проявилась у него еще в детстве, а к юношескому возрасту только усилилась благодаря упражнениям в переводах в гимназии и университете.

Около 1758 года директор Московского университета И. И. Мелиссино вздумал ехать в Петербург и взять с собою нескольких учеников, чтобы показать основателю университета И. И. Шувалову плоды сего училища.

Каковы, казалось, могли быть плоды беспорядочного ученья! “Учитель арифметики пил смертную чашу; учитель латинского языка был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, *но голову имел преострую* и как латинский, так и российский языки знал очень хорошо”. Этой “преострой головой” воспользовались более даровитые ученики.

В число избранных попали Фонвизин с братом, Потемкин и Булгаков. Десять малолетних учеников с Мелиссино и его супругой совершили трудный зимний переезд из Москвы в Петербург. Начальник и жена его смотрели за ними как за детьми своими. В Петербурге Фонвизин с братом остановились в доме дяди.

Воспоминание о приеме у Шувалова и при дворе осталось у Фонвизина на всю жизнь. Шувалов, взяв его за руку, подвел к человеку, вид которого уже привлек почтительное внимание юноши. “То был бессмертный Ломоносов!” Он спросил у мальчика, чему тот учился, и красноречиво стал говорить о пользе латинского языка. Великолепие дворца императрицы поразило, конечно, юношу, которому не было еще полных 14 лет, как нечто сказочное. Известна роскошь дворца Елизаветы. “Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, наконец, огромная музыка — все сие поражало зрение и слух мой, и *дворец казался мне жилищем существа выше смертных”.* Фонвизину казалось счастьем остаться в Петербурге, но врожденное благоразумие и тоска по родным скоро взяли верх, и он без сожаления вернулся в Москву.

Пребывание в Петербурге оказало, однако, на него большое влияние. Между прочим, столкновение при дворе с одним заносчивым юношей, который отнесся к нему как к невеже из-за незнания французского языка, побудило его пополнить образование с этой стороны. Не оставляя латинского языка и слушая логику у профессора Шадена, он в то же время взялся за

Вольтера и через два года пробовал уже переводить стихами его “Альзиру”. Особенно удачно переводил Фонвизин в это время с немецкого и, познакомившись с книгопродавцем, стал получать заказы. Первым литературным опытом его были басни Хольберга, изданные в 1761 году, затем последовали “Метаморфозы” Овидия и переводы статей: “Изыскание о зеркалах древних”, “О рисовальном искусстве” и др.

Все статьи эти говорят еще о петровской программе переводов классических и образовательных произведений, необходимых для практического использования в жизни. В переводе “Альзиры” Вольтера и “Сифа” аббата Террасона сказывается уже дух новой литературы, которая быстро начинает развиваться с воцарением Екатерины. Подробное название последнего перевода — “Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского” — говорит уже о воспитательном направлении века.

В 1762 году Фонвизин был сержантом гвардии, но военная служба не влекла его. Ему хотелось еще учиться, он искал случая обнаружить свои дарования. В это время двор прибыл в Москву. Фонвизин подал прошение в иностранную коллегию, и вице-канцлер князь А. М. Голицын, испытав его в знании иностранных языков, приказал послать в университет “промеморию”, которою предписывалось сержанта Фонвизина, “выключа из числа университетских студентов, прислать в коллегию для определения по желанию и способности его”. Он был скоро отмечен как хороший переводчик и даже послан с поручением к Шверинскому двору. С этого времени начинается его служба в Петербурге; параллельно со службой завязывались литературные знакомства и связи.

Еще во время пребывания в столице с Мелиссино юноша познакомился с Дмитревским, Волковым и другими. Еще тогда он чуть не сошел с ума от радости, узнав, что они бывают в доме его дяди. “Генрих и Пернилла”, комедия Хольберга, по собственным его словам “довольно глупая”, показалась ему тогда произведением величайшего разума, а актеры — великими людьми, знакомство с которыми должно составить его благополучие. Действие, произведенное на него тогда театром, почти описать невозможно, говорил он уже на краю гроба. Обладая сам даром прекрасно “передразнивать людей”, он с этих пор особенно внимательно всматривается в окружающее, и в нем начинает шевелиться идея создать свою комедию. Попытка его ограничивается пока “переделкою на русские нравы” комедии Грессе “Корион” (в трех действиях). Фонвизин сохранил все недостатки этого рода комедий, не прибавив достоинств. Лица в

комедии не русские и не живые, изображение страстей натянутое, и пьеса кончается попыткой самоубийства, которая не удается, потому что слуга, “добрый гений” своего барина, подменяет яд и говорит в момент отчаяния умирающего: “Вы выпили не яд, а выпили водицу”. И вся пьеса — плохая фальсификация, хотя не яд, но водица. Как перевод пьеса недурна и заключает в себе интересные по мысли монологи о недостатках современного общества, о чести, гражданском и человеческом долге, самоубийстве и так далее.

К этому же времени относится оригинальная басня Фонвизина “Лисица-казнодей”,[1] в которой автор, несмотря на молодость, пытается уже сатирически изобразить корыстные побуждения людей, — результат наблюдений, которые, быть может, он успел сделать на недавней службе и при дворе. Лисица сплетает похвалы Льву, “царю зверей” (впрочем, уже умершему). Автор говорит тем, кто удивляется нахальной лжи льстеца:

> Чему дивишься ты,
> Что знатному скоту льстят подлые скоты?
> Когда же то тебя так сильно изумляет,
> Что низка тварь корысть всему предпочитает
> И к счастию бредет презренными путьми,
> Так видно никогда ты не жил меж людьми.

В “Трутне”, известном сатирическом журнале прошлого века, находим “известие”, которое сразу вводит читателя в мир сатиры и аллегории того времени. Известие идет с Парнаса. Музы жалуются Аполлону на искажение переводчиками славных поэтов.

> “Мельпомена и Талия проливали слезы и казались неутешными. Великий Аполлон уверял их, что сие случилось без его позволения, и показал Талии *новую русскую комедию,* сочиненную одним молодым писателем. Талия, прочитав оную, приняла на себя обыкновенный свой веселый вид и сказала Аполлону, что она сего автора с удовольствием признает своим законным сыном. Она записала его имя в памятную книжку, в число своих любимцев”.

Это известие знакомит нас с успехом комедии “Бригадир”.

Успех был решительный и единодушный, как у критики, так и у публики. Комедия “часто представлялась на театре, как в С.-Петербурге, так и в Москве, завсегда к отменному удовольствию

зрителей и не выходя из вкуса”, пишет современник в “Драматическом вестнике”. Другие говорят, что большего успеха не мог иметь и Мольер во Франции. В самом деле, достаточно сравнить “Бригадира” с любой театральной пьесой того времени, чтобы понять вполне этот успех. В этой комедии современники в первый раз встретили живое, острое слово и неподдельное веселье взамен натянутых рассуждений и ходячей морали. Издатель “Адской почты”, определяя характер комедии, замечает, что автор пишет “на вкус Мольеров”. Что же касается типов, то “в комедии — *редкости,* — говорит он, — не хочу сказать — невозможности”. Полевой, конечно, прав, говоря так об этой комедии:

> “В “Бригадире” Фонвизин благодаря своей наблюдательности, живому уму и сатирическому таланту сумел ярче выставить на сцену и одарить жизнью те самые типы, которые были уже подмечены раньше, даже очерчены довольно подробно некоторыми из его предшественников. Эти типы, так сказать, давно уже носились в нашей литературной сфере и как бы ожидали только искусного пера, которое бы сумело их изобразить рельефно”.

Появление комедии относят к 1766 году, хотя время это с точностью не установлено. Для биографии автора обстоятельство это не имеет особого значения потому уже, что произведения его и по многим другим причинам нельзя рассматривать в хронологической связи. Достоверно известно, что “Бригадир” написан в Москве, во время отпуска, взятого автором у Елагина. Тогда ему было где-то от 20-ти до 22-х лет.

Комедия Фонвизина явилась, можно сказать, прямым подражанием комедии Хольберга “Jean de France”.

“Автора “Бригадира” и “Недоросля” мы привыкли считать в сильной степени оригинальным сатириком, — говорит Веселовский. — Человек, сумевший живьем перенести на сцену помещичью и городскую среду своего времени, коснуться самых больных мест общества и привить комедии непринужденную реальность, — проникавшийся с годами нетерпимою национальною гордостью и осыпавший незаслуженною бранью лучших людей и наиболее светлые стороны современной Европы, действительно должен был бы, казалось, обладать большою самостоятельностью. Но, чтобы проверить степень оригинальности его приемов, стоит собрать воедино все разоблачения сделанных им заимствований”.

Сравнение “Бригадира” с комедией Хольберга обнаруживает

полнейшее сходство содержания, интриги, развития действия и даже типов и выражений, особенно в смешных заимствованиях из французского языка. Все это объясняется тем, что Дания, как в свое время Германия и Англия, переживала тогда период галломании, точно так, как мы во времена Фонвизина.

Восхищенный комедией Хольберга “Генрих и Пернилла”, Фонвизин взялся за изучение этого автора, переводил его басни и, естественно, находился под сильным его влиянием. Это влияние сильного таланта на юный ум Фонвизина совпало, таким образом, и с однородным состоянием эпохи. Однако сам Хольберг едва ли отказал бы нашему автору в самородном даровании. *Так* подражать может только равный равному, и “Бригадир” остается до сих пор комедией свежей, живой, оригинальной. Само название ее стало нарицательным именем, которым как тогда, так и позднее крестили известный тип людей. Прозвище стало смешным; однако по знаменитой в своем роде табели о рангах чин бригадира был немалый. Герой комедии недаром глубоко убежден, что его волосы у Господа сосчитаны: “Я — бригадир, — говорит он, — и если у пяти классов волосов не считают, то у кого же и считать их ему”. Вероятно, по табели о рангах князь Вяземский самого автора комедии назвал “Парнасским бригадиром”.

Несмотря на подражание Хольбергу, типы комедии весьма жизненны. Это объясняется наблюдательностью нашего автора, его живым и острым умом и талантом не только писателя, но отчасти и актера. Он любил передразнивать людей и умел живо и верно подмечать их смешные стороны. В те времена принято было писать с “подлинников”, и автор широко этим воспользовался, наблюдая в Москве ту среду, в которой он сам жил, и метко схватывая отдельные черты.

В “Признании” он рассказывает о временном увлечении своем девушкой, о которой можно было только сказать: “Толста, толста… проста, проста!” Она имела мать, которую целая Москва огласила “набитою дурой”. Последняя и послужила ему “подлинником”. “По крайней мере, — говорит автор, — из всего моего приключения родилась роль Бригадирши”. Таковы были “редкости” в обществе того времени. Неудивительно, что роль эта возбудила, по словам автора, уже в чтении особое внимание Панина. “Я вижу, — сказал он ему, — что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо *Бригадирша ваша — всем родня”,* и так далее.

Весь эпизод отношений крючковатого Советника, этого лицемерного ханжи и сластолюбца, с Бригадиршей, быть может, списан с натуры. Тип подобного лихоимца, несомненно, был хорошо известен народу и осмеивался, конечно, раньше в

сценических представлениях разночинцев и скоморохов. Подобные представления, хоть и самого примитивного, первобытного характера, давно уже стали любимым развлечением городских обывателей и устраивались на личные средства предприимчивыми разночинцами и посадскими людьми в нанятых в чьем-либо частном доме “палатах”, причем с народа взималась плата за вход. Так было до учреждения постоянного театра в 1756 году, даже позднее. Таким образом, театр вообще и комедия Фонвизина в частности имели своих предшественников, скромных, малозаметных, но много способствовавших распространению любви к театральным зрелищам. Несмотря на это, с одной стороны, и несмотря на подражание Хольбергу, — с другой, “Бригадир” является “первою комедиею в русских нравах”, как определил ее тогда же граф Панин. Форма, содержание и язык — все было ново, оригинально и художественно в этом юном произведении. К нему уже нельзя было поставить эпиграфом: “Действие происходит в Тмутаракани”, как *ко всем* трагедиям Сумарокова.

Фонвизина можно упрекнуть лишь в том, что, осмеяв Иванушку, он пошел еще дальше в жизни и проявил резкую нетерпимость ко всему влиянию французской литературы и философии на русскую жизнь. Беда была, конечно, не в том, что русские *учились* у иностранцев, хотя бы путем подражания, но в том, что “учились слишком мало и многого еще понять не могли”. Петр Великий из поездки за границу вернулся “преобразователем”, но что постигали сразу “державный дух Петра и ум Екатерины”, для постижения того народу нужны были века. Неизбежны были также ошибки и заблуждения.

XVIII век до конца остался веком контрастов. То был век Петра, его ботика и дубинки, век ханжихиных и чудихиных (комедия Екатерины) и вместе с тем царственной сатиры, век простаковых и Митрофанушек, “расчетной книжки” Бригадирши, фижм, робронд, “философии на троне”, клейма и кнута. Комедия “Бригадир” имела огромный успех уже в рукописи, особенно благодаря редкому таланту автора, замечательно читавшего вслух. Он читал ее самой императрице, великому князю и многим вельможам, наперерыв зазывавшим его к себе на обед. Многие охотно слушали по нескольку раз, особенно граф Панин, который говорил, что ему кажется — он видит саму Бригадиршу, когда автор читает эту роль.

Успех комедии способствовал и движению карьеры Фонвизина.

2

Перевод “Альзиры” Вольтера, хотя не был напечатан, распространился в рукописи и обратил на себя внимание самой императрицы; Фонвизин именным указом назначен был “состоять” при кабинет-министре Елагине.

Автор сам справедливо недоволен был переводом; однако имя Вольтера так любезно было сердцу Екатерины, что даже одна попытка перевести уже была приятна ей и выгодно рекомендовала вкус переводчика. Таким образом, началом карьеры обязан был Фонвизин тому имени, к которому потом всю жизнь он относился враждебно.

Елагин — сам литератор по склонности и притом франкмасон — был больше другом для Фонвизина, чем начальником. Фонвизин скоро привык представлять на суд его все свои произведения, а во время отлучек в Москву, к родным, переписывался с ним и посылал рукописи на просмотр.

Службою Елагин его не утруждал, так что Фонвизин скорее именно “состоял” при нем, чем служил. Только в экстренных случаях он проводил у него день, по большей же части бывал совершенно свободен и мог предаваться любимым литературным занятиям. В это время перевел он роман “Любовь Кариты и Полидора”. Кроме того, что работа была интересной, весьма кстати пришлись нашему автору и деньги, полученные от издателя в Москве, так как жалованье не покрывало расходов. Оставляя своего Пегаса, Фонвизин в письмах к родным часто жалуется на разные недостачи. Светская жизнь, визиты, куртаги[2] при дворе требовали расходов на платье и карету. Правда, по хозяйству все присылалось из Москвы, свое, помещичье, и слуги, конечно, были крепостные, но эти Ваньки, Петрушки, Сеньки требовали экипировки и “представляли в резон многие заплаты на прежней ливрее, разность пуговиц, из коих одни золотые, иные серебряные, а иные гарусные”, и так далее. Рублей пятнадцать из кармана составляли по тому времени уже большие деньги.[3]

Молодой чиновник вел довольно рассеянную жизнь. “Острые слова” его носились по городу и приобретали ему врагов, но среди тех, кто не был ими задет, они давали ему репутацию любезного и веселого собеседника. Театр оставался его любимым развлечением. Обыкновенно или он где-нибудь бывал на обеде или у него обедал кто-нибудь из друзей, чаще других князь Ф. А. Козловский, умный и образованный человек, Преображенский офицер, погибший впоследствии в Чесменском бою. (Он перевел несколько комедий и написал оригинальную комедию “Одолжавший любовник”, несколько песен, эклог и т. п.). Время проходило в живой, остроумной беседе о литературе, о новостях дипломатических и служебных, театре и столичных красавицах.

Тут же составлялись эпиграммы, шутливые строфы и т. п. Иногда после обеда собирались князь Вяземский, Дмитревский “avec sa femme et une autre actrice”,[4] как сообщает Фонвизин сестре предусмотрительно на французском языке, на случай, если письмо попадет в руки отца. Последний находил предосудительным знакомиться с актерами.

Дмитревский, несомненно, имел значительное влияние на развитие драматического таланта молодого автора.

Гости, собиравшиеся у Фонвизина, вместе с хозяином отправлялись во французскую комедию или в русский театр, или на куртаг и представление во дворец, когда случались таковые. Таким образом, Фонвизин мог на месте пользоваться ценными замечаниями Дмитревского.

В Петербурге кроме французской комедии процветала трагедия Сумарокова. Мещанская драма, которая в это время делала широкие завоевания в Европе, у нас не имела успеха и только в Москве начала несколько преобладать над драмой ложноклассической, к великому негодованию Сумарокова. Однако и в Петербурге репертуар иногда разнообразился: “Играна была комедия “Женатый философ” (Детуша), которую смотрело великое множество женатых нефилософов”, — пишет Фонвизин сестре.

Несмотря на свой трезвый и острый ум, Фонвизин отдавал дань веку, будучи несколько сентиментален в молодости. Сентиментальность проскальзывает в некоторых рассказах его о своих увлечениях, в письмах к сестре. По временам он хандрит и жалуется на недостаток искренних симпатий и, главное, на отсутствие “предмета”. Однажды он пишет:

“Теперь шутить мыслей нет. Лишь только прочитал новую трагедию французскую “Троянки”. Слезы еще и теперь видны на глазах моих. Гекуба, лишающаяся детей своих, возмутила дух мой. Поликсена, ее дочь, умирая на гробе Ахиллесовом, поразила жалостью сердце мое, а отчаянье Кассандры извлекло из глаз моих слезы. Однако плюнем на них, — продолжает он, отдав дань веку. — Стихотворец подобен попу, которому, живучи на погосте, не всех оплакать. Я сам горю желанием писать трагедию, и рукой моей погибнут по крайней мере с полдюжины героев, а если рассержусь, то и ни одного живого человека на театре не оставлю”.

Хладнокровнейший в мире человек, наш дедушка Крылов также не знал предела в изображении страстей на сцене. Такова была непреклонная мода в целом мире (Лесаж осмеял ее в “Жиль Блазе”).

Современник Фонвизина Лукин выступил со своей комедией

русских нравов “Мот, любовию исправленный” и в то же время с переделками комедий “Пустомеля” — *с* французского — и “Щепетильник” — с английского. Лукин, хотя и не оригинальный комик, был чрезвычайно умным человеком, страстно любил театр и понимал его требования. Он, впрочем, открыто признавал талант Фонвизина и говорил, что последний “имеет больше его способностей и знания”.

Лукин был также секретарем у Елагина, и между обоими авторами постоянно тлела глухая вражда. Фонвизин постоянно обвинял Лукина в интригах и в низости характера. В письмах к сестре он выражает свое негодование и удивляется, что Елагин слишком доверяет Лукину. В конце концов Елагин устранил Лукина и, по замечанию Фонвизина, “поклялся впредь не производить в чины никого из тех, которых отцы и предки во весь свой век чинов не имели *и родились служить, а не господствовать”* (?!).

Несмотря на удаление Лукина, Фонвизин не подвигался по службе, так как Елагин из-за пристрастия к литературе, театру и философским вопросам мало заботился о карьере как своей, так и своего секретаря. Фонвизин вследствие этого все более и более охладевает к своему начальнику и начинает относиться к нему прямо неприязненно, отыскивая случай оставить его совсем. Честолюбию его открылся новый путь после успеха “Бригадира”, написанного во время отпуска, в Москве. Мы знаем уже, какой успех имела комедия в чтении автора и как обратила она на себя внимание императрицы и многих высоких особ. Вскоре после этого Фонвизин перешел на службу к графу Никите Ивановичу Панину, который был воспитателем великого князя. Это был один из наиболее замечательных людей в царствование Екатерины II, дипломат и царедворец. Человек большого ума и характера, он был терпелив, благодушен, тверд в своих мнениях и руководствовался благородными правилами как в политике, так и в личной жизни. Сверх должности воспитателя наследника он управлял коллегией иностранных дел. Служба у Панина дала Фонвизину то положение, которого он искал. К этому времени завязываются у него дружеские связи с политическими, военными и дипломатическими деятелями в России и за границей. Значительная переписка с ними демонстрирует с лучшей стороны его ум и характер. А то, что в отношениях он был искренен и дружелюбен, доказывают слова его из одного письма к сестре, где он пишет ей о знакомствах своих в Петербурге:

> “Я не лгу, что знакомства еще не сделал. С кадетским корпусом не очень обхожусь затем, что там

большая часть — солдаты, а с академией затем, что там большая часть — педанты. Да сверх того, слово *знакомство,* может быть, Вы не так разумеете. Я хочу, чтобы оное было основанием ou de l'amitié ou de l'amour (или дружбы, или любви)!”

Правда, письмо это относится к периоду особой мягкости его сердца, однако в основе таким оставался всегда характер отношений его к людям.

Друзья Фонвизина обращаются к нему во всех случаях, когда кому-нибудь надо помочь. Он устраивает так, чтобы одно лицо без особой надобности отправлено было из Петербурга в Варшаву и обратно курьером, потому что его обстоятельства очень плохи. Он содействует оправданию офицера Маркова и победе над несправедливым гневом главнокомандующего в Варшаве. В конце концов наступает момент, когда ему самому грозит опасность в виде явной опалы, надвигающейся на графа Панина, которого хотят удалить от наследника престола. Если бы это случилось, Панин намерен был оставить службу. “В таком случае, — пишет тогда Фонвизин, — Бог знает, что мне делать, или лучше сказать, я на Бога положился во всей моей жизни, а наблюдаю только то, чтоб жить и умереть честным человеком”. История кончилась благополучно, но каковы были интриги при дворе, видно из следующих слов Фонвизина: “Я ничего у Бога не прошу, как чтобы вынес меня с честью из этого ада”.

Литературный талант Фонвизина поступает, так сказать, вместе с ним на службу ко двору. Повесть “Каллисфен” написана, вероятно, для великого князя. В этой повести рассказывается известный эпизод убийства Клита Александром Македонским и рисуется благородная твердость философа, ученика Аристотеля, который пал жертвою долга, предостерегая и упрекая Александра в несправедливости. Повесть указывает на необходимость царю иметь верных советников и говорит о честности как первом долге гражданина.

Фонвизин написал также “Слово на выздоровление великого князя”, которое произвело очень сильное впечатление на современников, статьи “о вольности французского дворянства и пользе третьего чина” (рукопись не издана) и, как говорит родной его племянник в своих записках, под руководством Панина составлял проекты различных государственных реформ, необходимых для блага империи. Участвуя в трудах, Фонвизин принимал участие и в забавах двора: куртагах, спектаклях и маскарадах. В так называемых “кавалерских представлениях” принимали участие все вельможи. Роли распределялись между

ними. Принимали участие Орлов, Шувалов и др. “В балете “Галатея и Ацил” его высочество явился в виде брачного бога Гименея и искусными и благородными своими танцами удивил всех”, — пишет Фонвизин сестре.

Порошин так описывает святочные игры при дворе Павла и самой Екатерины:

> “Сперва, взявшись за ленту, все вокруг стали, некоторые ходили в кругу и прочих по рукам били. Как эта игра кончилась, стали опять все в круг без ленты уже, по двое, один за другого, гоняли третьего. После этого “золото хоронили”, “заплетали плетень”, пели, по-русски плясали, польской, менуэт и контрадансы танцовали. Императрица во всех этих играх сама быть и “по-русски” плясать изволила с Никитою Ивановичем Паниным. Во время сих увеселений вышли из внутренних императрицы покоев семь дам. Это были *в женском платье* граф Григорий Орлов, камергеры граф Александр Сергеевич Строганов, граф А. Н. Головин, П. Б. Пассек, шталмейстер Лев Нарышкин, камер-юнкеры Баскаков, князь А.М. Белосельский. На всех были кофты, юбки и чепчики. Князь Белосельский был одет похуже других, представляя маму, а прочие “барышни” были под ее смотрением. Их посадили за круглый стол, поставили закуски и подносили пунш. Потом играли, плясали и *много шалили”(!)*.

Возрожденная литература в XVIII веке еще нетвердо стояла на ногах и оттого не могла принести даже скромных плодов обществу. Реформа Петра Великого нескоро коснулась литературы, которая продолжала оставаться чем-то случайным до второй половины века, до воцарения Екатерины II.

Может быть, неслучайно двое юношей вступили в жизнь и поступили на службу именно в год переворота и восшествия ее на престол. Эти юноши были Фонвизин, гвардии сержант по званию, но уже не военный, а причисленный к коллегии чиновник-литератор, и Державин, который пока далеко отставал от Фонвизина по развитию вследствие непривилегированного рождения и воспитания. В качестве простого солдата он находился еще на действительной службе; на нарах в казарме своей учил он оды Ломоносова и пробовал писать, плохо зная, однако, грамматику. Как солдат со своею ротой он принимал некоторым образом участие в возведении Екатерины II на престол и был из первых, увидевших ее в царственном величии. “Фелица” Державина явилась потом, почти в одно время с “Недорослем”, и

резко обозначили эти произведения и лица авторов два направления в литературе века Екатерины — лирическое и сатирическое.

Только в эту пору печатная литература начинает вытеснять рукописную, хотя они идут рядом еще долгое время. Новость дня в 1763 году между прочим составляет *рукописная* трагедия Тредиаковского “Деидамия”, о которой Фонвизин пишет сестре: “Нет ничего ее смешнее; Ахиллес является в ней в женском платье. В ней 4626 стихов…”

Царствование Екатерины благодаря вольным типографиям и дружной деятельности новых людей воспитало читающую публику, которая до того времени была совершенно случайной. “Кой-кто читал трагедии Сумарокова, — говорит Болотов. — Один унтер-офицер полка знал “Хорева” наизусть и, побывав, вероятно, в Петербурге в театре, декламировал всю трагедию с выкриками, пафосом и жестами завзятого актера”. Он подарил Болотову рукопись трагедии и выучил его самого “выкрикивать по-модному стихи”. Театр, сценические представления и любовь к ним способствовали, конечно, немало успешному развитию литературы. Охотно переводились Мольер, Детуш, Мариво, Реньяр, Бомарше. Случайный характер литературы уступает место определенному направлению при Екатерине. Даже творчество Сумарокова приобретает при ней новое значение и развитие, хотя он давно уже писал. С ее именем связаны тесно имена не только Державина и Фонвизина, при ней и под ее знаменем выступающих в поле, но Хераскова, Миллера и многих других, деятельность которых получает более широкое развитие. Замечательно образованная и обладавшая огромной начитанностью при большом уме, Екатерина не только “покровительствовала”, но, любя литературу, и сама занималась ею, что придавало ее действиям особый характер, дружественный по отношению к рыцарям пера. Первым следствием ее воцарения и покровительства было расширение и оживление литературных кругов. В публичном собрании Московского университета 3 октября 1762 года Рейхель, профессор университета и библиотекарь, произнес “Слово” по случаю коронования Екатерины и говорил о том, что “наука и художества процветают запрещением (?) и покровительством владеющих особ и великих людей в государстве”. Это “Слово” переведено было Фонвизиным с немецкого на русский.

В столичном обществе начали образовываться литературные кружки. В Москве, под сенью университета, такой кружок образовался даже несколько раньше, уже в 1760 году. Членами этого кружка стали недавние его питомцы: Фонвизин, Я. И.

Булгаков, И. Ф. Богданович, Потемкин и другие. Но главным членом, возле которого группировались остальные, был Херасков, сперва асессор, а потом директор университета, человек высокого благородства, искренно преданный просвещению и заслуживший уважение не одного поколения в русском обществе. Под его редакцией издавался журнал “Полезное увеселение”, который члены кружка снабжали плодами своих трудов.

Для характеристики времени особенно интересен журнал “Вечера”, выходивший в 1772–1773 годах. По мнению академика Л. Н. Майкова, этот журнал был не предприятием одного лица, но порождением “литературного салона”. Центром кружка являлись Херасков и его жена. Посетителями салона и авторами журнала были Богданович, Майков, Козловский, М. В. Храповицкая и др. Помещаемые в этом журнале вопросы и ответы, задачи и загадки, стихи на заданные темы — все хранило следы тех литературных забав, которые были в моде в старину.

В одном номере журнала по поводу упомянутых выше задач помещена заметка — интересное литературное признание. “Съехавшись в последний вечер и по окончании наших трудов, когда мы гораздо поустали, вздумалось нам веселее окончить, и для этого друг другу задавали задачи, которые и сообщаем так, как невинную шутку”, и так далее.

И. И. Дмитриев рассказывает в своих воспоминаниях (“Взгляд на мою жизнь”), что Е. В. Хераскова очень любила bouts-rimes (буриме) и сочиняла их даже в болезни, чуть ли не накануне своей смерти. Если Фонвизин и не примыкал тесно к этому дружескому кружку, то во всяком случае живою связью между ним, этим обществом и самим изданием был его приятель, князь Козловский. К началу царствования Екатерины относятся и зачатки нового сатирического направления, только сперва оно носит характер более общий. Таковы послания Фонвизина.

В кругу приятелей Фонвизина князь Ф. А. Козловский, талантливый юноша, которого многие любили за просвещенный ум и благородство характера, играл особую роль, так что даже повлиял на начало литературной деятельности нашего героя. Это был настоящий тип молодого вольтерьянца того времени. Основательное знакомство с французским языком и литературой, светлый ум и энтузиазм молодости сделали его страстным поклонником великих идей французской философии, в особенности Вольтера. Влияние его на Фонвизина могло быть весьма благотворно, так как из-за беспечности характера живой ум не спасал нашего автора от некоторой самобытной распущенности, халатности мысли и недостатка серьезного образования и убеждений.

Имея, с одной стороны, этого друга, с другой, — Елагина, своего начальника, у которого в доме он был принят как родной, тоже философа, весьма образованного человека и “главного мастера” российских масонских лож, — Фонвизин имел все для того, чтобы усвоить себе плоды европейской мысли. Это был решительный момент в жизни Фонвизина. С его цельной натурой и острым умом он должен был стать или прямым сторонником идей, которые так любила, хотя и довольно платонически, Екатерина, или врагом новейшей философии с ее патриархом Вольтером во главе. Впрочем, основательно он с этими идеями никогда не знакомился, и можно к нему отнести то же, имея в виду Вольтера, что он говорит в послании к Ямщикову:

Он *не читав* Руссо, с ним тотчас согласился,
Что чрез науки свет лишь только развратился.

Именно так относился Фонвизин к энциклопедистам. Руссо он ставил выше всех других за его идеи воспитания.

Фонвизин рассказывает в своем “Признании”, что, посещая с Козловским общество, где “шутили над святыней и обращали в смех то, что должно быть почтенно”, он поддался этому влиянию и написал тогда “Послание к Шумилову”, за которое прослыл безбожником. “Но Господи! — говорил он, — Тебе известно сердце мое; Ты знаешь, что сие сочинение было действие не безверия, но *безрассудной* остроты моей”.

Взглянув на это “Послание”, мы не найдем в нем ни безбожия, ни “безрассудства”. Смешение философии с “безбожием”, несмотря на то что сам Вольтер был деист и вовсе не отрицал божества, привело Фонвизина в конце концов к ханжеству.

В “Послании” автора занимает вопрос, который он предлагает слуге своему, Шумилову:

Скажи, Шумилов, мне: на что сей создан свет?

В ответ на этот вопрос он рисует картину пороков общества. Ни умный, ни дурак не знает причины, почему свет так глупо вертится. Почему везде торжествует глупость, обман и неправда.

И все мне кажется на свете суета.

Жизнь — игрушка, и надо только уметь ею забавляться. Зачем людям рай?

Жить весело и здесь, лишь ближними играй. Играй,

хоть от игры и плакать ближний будет.

Не получив ни от кого ответа на вопрос о цели создания, автор заключает послание словами:

И сам не знаю я, на что сей создан свет!

Особенно раскаивался, вероятно, Фонвизин в том, что осмеял здесь духовенство. По крайней мере в “Признании” он говорит о “нескольких строках” в “Послании”, “кои являют его заблуждение”. Судя по ханжеству его в последние годы жизни, эти строки должны быть следующие:

Смиренны пастыри душ наших и сердец
Изволят собирать оброк с своих овец.
Овечки женятся, плодятся, умирают,
А пастыри при том карманы набивают,
За деньги чистые прощают всякий грех,
За деньги множество в раю сулят утех.
Но если говорить на свете правду можно,
То мнение мое скажу я вам неложно:
За деньги самого Всевышнего Творца
Готовы обмануть и пастырь и овца!

По указанию митрополита Евгения “Послание” было напечатано в Москве в 1763 году, во время устроенного дворцом для народа публичного маскарада, когда на три дня во всех московских типографиях позволена была свобода печатания.

Однако уже князь Вяземский тщетно разыскивал подтверждение факта таких “литературных сатурналий”, по остроумному его определению. По-видимому, это послание увидело свет только в 1770 году, опубликованное в “Пустомеле” с таким примечанием:

“Кажется, нет нужды читателя моего уведомлять об имени автора сего “Послания”. Перо, писавшее сие, российскому ученому свету и всем любящим словесные науки довольно известно. *Многие письменные сего автора сочинения носятся по многим рукам,* читаются с превеликим удовольствием и похваляются сколько за ясность и чистоту слога, столько за остроту и живость мыслей, легкость и приятность изображения и т. д.”.

Не нужно было “сатурналий” для дозволения печатать это

послание. Вкус к философии был так развит, что некоторые факты вольнодумства цензуры кажутся теперь парадоксами.

Так, когда Фонвизин стал переводить сочинение Самуэля Кларка “Доказательства бытия Божия и истины христианской веры”, Теплов давал ему советы, как обойти цензуру Синода. “Но неужели, — спросил Фонвизин, — Синод будет делать мне затруднения в намерении столь невинном?” — “Да разве не знаете вы, кто в Синоде обер-прокурор?” — “Не знаю”. — “Так знайте ж — Петр Петрович Чебышев”, — сказал Теплов. Этого обер-прокурора Св. Синода считали явным атеистом. Теплов уверял Фонвизина, что встретил в доме приятеля двух гвардии унтер-офицеров, которые спорили о бытии Божием. Один из них кричал: “Нечего пустяки молоть, а Бога нет!” — “Да кто тебе сказывал, что Бога нет?” — спросил Теплов. “Петр Петрович Чебышев вчера на гостином дворе”. В этом рассказе Теплова, очевидно, кое-что прибавлено от себя, и сам Фонвизин заметил, что Теплов “имеет личность” против Чебышева, так как бранит его сильно, но все же “нет дыма без огня”.

Фонвизин добивался от Теплова, где взять оружие против безбожников и как почерпнуть наилучшие доводы о бытии Божием. Последний указал ему на сочинение С. Кларка, которое, по уверению Фонвизина, и вернуло ему душевный покой. Надо отдать справедливость Фонвизину в том, что он честно отнесся к волновавшему его вопросу, искал откровения. Правда, по свойственной натуре его лени он был неразборчив и слишком скоро *нашел* ответ на волновавший его вопрос. Насколько предвзяты были его решения в этом вопросе, он сам обнаруживает, рассказывая о посещении дома одного знатного, очень умного и образованного вельможи. “Он был уже старых лет, — говорил Фонвизин, — и все дозволял себе, потому что ничему не верил. Сей старый грешник отвергал даже бытие Вышнего существа”. Фонвизин обедал у него, и за столом хозяин, к негодованию юного, но патриархального по убеждениям или, вернее, по воспитанию автора, не скрывал своего свободомыслия. “Рассуждения его были софистические и безумие *явное,* но со всем тем *поколебали душу мою”.* На вопрос князя Козловского, нравится ли ему это общество, он солидно ответил, что просит “уволить его от умствований, которые не просвещают, но помрачают человека”. Тут показалось ему, что сошло на него наитие. “Я в карете рассуждал о безумии неверия очень справедливо и объяснялся весьма выразительно, так что князь ничего отвечать мне не мог”.

Установившееся таким образом миросозерцание было, быть может, душеспасительно, но препятствовало разрешению многих

вопросов в смысле прогрессивном. Были вопросы, которые даже затрагивать считалось уже противным религии. Ломоносову, как известно, приходилось энергично защищать свободу физических исследований природы.

Известная книга Фонтенеля “Беседы о множественности миров” в Европе давно уже сделала общим достоянием факты учения Декарта и Коперника о природе. У нас же она была запрещена. В 1757 году члены Синода подали Елизавете доклад, в котором просили высочайшим указом запретить ее, “дабы никто отнюдь ничего писать и печатать, как о множестве миров, так и обо всем другом, вере святой противном и с честными нравами несогласном, под жесточайшим за преступление наказанием не отваживался, а находящуюся ныне во многих руках книгу “О множестве миров” Фонтенеля указать везде отобрать и передать в Синод”. Они же требовали суда над Ломоносовым как над безбожником. Последний, напротив, ссылался даже на Василия Великого и в своей оде писал:

Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков:
Для общей славы божества
Там разна сила естества.

Раскаяние Фонвизина в “вольнодумстве” заметно уже в последовавшем за “Посланием” переводе сочинения Битобе в девяти песнях “Иосиф”. В этом изложении библейского рассказа слог автора “Бригадира” обретает черты, не свойственные ему прежде, уподобляясь напыщенной и раздутой риторике. Фонвизин говорит, однако, что многие проливали слезы, читая это повествование.

ГЛАВА II
Письма из заграницы

Фонвизину было всего 17 лет, когда он, студент Московского университета, перевел басни Хольберга с немецкого. Книгопродавец, по заказу которого исполнен был этот труд, обещал заплатить автору книгами. Фонвизин был рад этому, надеясь иметь книги, нужные ему для дальнейших занятий по изучению литературы. Книгопродавец сдержал слово и книги на условленную сумму (50 руб.) выдал.“Но какие книги!” — восклицает автор в своем “Признании”. “Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою. И кто знает, не от сего ли времени начала скапливаться та болезнь, которою я столько лет стражду”.

Из писем его к сестре мы знаем, что жизнь его не была спокойной и тихой жизнью литературного труженика. Он не раз увлекался, начиная с той девушки, о которой говорил, что она “умом была в матушку”, послужившую, в свою очередь, прообразом Бригадирши. Он привязался к ней, но поводом к привязанности “была одна разность полов, ибо в другое влюбиться было не во что”. Вместе с тем Фонвизин способен был и к увлечению другого рода, чисто платоническому. В Москве же он познакомился с одним полковником, жена которого страдала от легкомыслия своего супруга. Ее положение возбудило искреннее сострадание его, и мы видим здесь дружбу чистую и редкую даже в наше время между мужчиной и женщиной. Частое посещение дома полковника обратило на себя внимание общества, и клеветники толковали его визиты по-своему, но Фонвизин утверждает “честью и совестью”, что кроме нелицемерного дружества не питали они других чувств друг к другу.

Другого рода чувство возбудила в нем сестра полковницы. Страсть к ней, говорит он, “была основана на почтении, а не на разности полов”. Фонвизин женился впоследствии на другой, но в сердце он сохранял память о возлюбленной в течение всей своей жизни.

Почему он на ней не женился, несмотря на признание в вечной любви и с ее стороны, Фонвизин не поясняет. В 1769 году Фонвизин перевел английскую повесть “Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность”. К этой нравоучительно-

сентиментальной повести он написал следующее посвящение, которое относится, вероятно, к предмету его первой любви:

> “Следуя воле твоей, перевел я “Сиднея” и тебе приношу перевод мой. Что мне нужды, будут ли хвалить его другие. Лишь бы он понравился тебе! Ты одна всю вселенную для меня составляешь”.

Эта повесть, комедия “Бригадир” и “Иосиф” написаны почти одновременно. В комедии острый и живой ум автора и комизм, присущий его таланту, нашли выражение в простом, ясном и живом языке; в повести, хотя и переводной, явно отразилось временное сентиментальное настроение юноши; наконец, в переводе песен поэмы Битобе библейская простота прекрасного предания совсем заслоняется напыщенным дутым языком приторного ханжества, отвечающим вполне рассудочному увлечению нашего автора церковной схоластикой. К счастью, Фонвизин освободился от последнего влияния, по крайней мере до известной поры.

Итак, увлечения сменялись и в Петербурге одно другим, как это видно по рассказам в письмах к сестре. Без предмета страсти Фонвизин не любил долго оставаться. Он уверяет сестру, что не создан для придворной жизни, между тем -

“Положил себе за правило стараться вести время свое так весело, как могу. И если знаю, что сегодня в таком-то доме будет весело, то у себя дома не остаюсь. Словом, когда б меня любовь не так смертельно жгла, то жил бы изряднехонько”.

> Но страсть моя меня толико покорила,
> Что весь рассудок мой в безумство претворила.

А страсти менялись, развлечения — еще быстрее:

“Вчера была французская комедия “Le turcaret” и малая “L'esprit de contradiction”, — пишет он, — скоро будет кавалерская, не знаю, достану ли билет. Впрочем, все те миноветы, которые играют в маскарадах, и я играю на своей скрипке пречудным мастерством(!). Да нынче попалась мне на язык русская песнь, которая с ума нейдет: *“Из-за лесу, лесу темного”.* Чорт знает! Такой голос, что растаять можно, и теперь я пел; а натвердил ее у Елагиных. Меньшая дочь поет ее ангельски”.

Узнать ли в этом светском весельчаке обличителя крепостного права, “властелина сатиры”!

“Гульбища по садам” занимают также довольно времени,

рассказывает он. Петербургские жители делят целую неделю на зрелища и веселья, и Фонвизин не отстает от света. С семьею родных своих или со знакомыми съезжаются на острова Каменный, Крестовский и Петербургский, устраивают на открытом воздухе ужины и веселятся так, как мы не умеем. За городом обедают in's Grüne[5] или в трактире, катаются на шлюпке, играют в фортуну и так далее. Таким образом, дворцовые куртаги сменяются семейными, патриархальными развлечениями. Патриархальность достигает эпической силы, например, на Страстной неделе.

“В животе моем плавает масло деревянно, такожде и орехово”, — шутливо пишет он сестре. Однако же это вовсе не шутка, принимая во внимание, что “пироги с миндалем, *щепки* и гречневая каша немало помогают в приобретении душевного спасения”. Этого рода “душевное спасение” имеет нешуточную связь с сочинением Самуэля Кларка, так как сопровождается, по словам Фонвизина, усердным “слушанием” заутрень, “часов” и вечерен. Бурно протекала молодость Фонвизина, и рано стал он искать “душевного спасения” и каяться, хотя, впрочем, не оставил “вольнодумных” мыслей в отношении к “попам”; только остроумие свое в этом направлении он перенес на католическую церковь, в письмах своих из-за границы отчасти указывая на действительное зло ее господства во Франции, отчасти просто пересмеивая чужие обычаи, потому только, что они не наши.

В 1773 году Фонвизин становится значительным барином-помещиком. Граф Никита Иванович Панин, закончив воспитание наследника престола, получил различные “милости” и награды. Из девяти тысяч душ, полученных в том числе, Панин четыре тысячи щедро подарил троим секретарям; таким образом, Фонвизин стал владельцем 1180 душ. Само собою, владение душами не шокировало нашего сатирика и спасению собственной души не мешало. Напротив, в письме к Козодавлеву по поводу вопроса о помещении в российском словаре уменьшительных имен, Петрушек, Ванек, Анюток, Марфуток и так далее, Фонвизин остроумно и логично поясняет: “Тридцать тысяч душ иметь хорошо, но не в лексиконе”.

Здоровье жены Фонвизина требовало лечения и перемены климата. Достаточное состояние позволило ему теперь предпринять поездку за границу. В распоряжениях, оставленных управляющему, Фонвизин обнаруживает удивительное благоразумие. Все имущество тщательно записано; перечислены в записке и кафтаны бархатные, и суконные, шитые золотом, платье “весеннего бархата”, “перуанавая” летняя пара, парчовый шлафрок и т. п. — “от картин до разломанной вафельной доски!”

А путь из Петербурга в Вену, Париж или Монпелье в то время был вояжем немалым, по почтовым и проселочным дорогам, нередко с препятствиями, приключениями, а иногда и недобрыми встречами. Страхования от нечаянных случаев не было, а между тем недалеко еще путешественники наши отъехали, как уже произошел печальный инцидент: доро́гой в лесу древесный сук разбил стекло в карете и едва не лишил глаза жену Фонвизина, которой он читал в то время вслух. Карета служила спальней, столовой и библиотекой.

Письма Фонвизина из-за границы к сестре и к графу Панину почти одинаковы по содержанию, но первые, заключая в себе несколько меньше политики и философии, более пространны и картинны в описании быта. Он знал, что сестра его оценит изложение и содержание: она сама писала и переводила — довольно редкое явление в то время, когда еще простаковы восклицали: “До чего мы дожили! К девушкам письма пишут, девушки грамоте знают”. Одобряя литературные опыты сестры и помогая дружески советами и указаниями, Фонвизин писал ей однажды в пылу увлечения: “Продолжай, ты будешь великий человек!”

Проехав 900 верст от Смоленска до Варшавы, путешественники “ничего не ощущали, кроме неприятностей и мучительных беспокойств” вроде приключения с разбитым стеклом, грязи и плохой еды в корчмах. Городки и местечки одно другого грязнее и невзрачнее были утомительно однообразны. От Красного до Варшавы не случается Фонвизину хорошо пообедать. Зато в городе Красном, немного похуже всякой скверной деревни, “городничий Степан Яковлевич Аршеневский принял нас дружески, — пишет Фонвизин, — и назавтра дал нам обед, которого я вечно не забуду. Повар его прямой empoisonneur. [6] Целые три дня желудки наши отказывались от всякого варения. Он все изготовил в таком вкусе, в каком Козьма, Хавроньин муж, состряпал поросенка”.

В дороге обедать приходилось в карете и ночевать также; в горнице можно было встретить пляшущих лягушек.

Варшава имеет “невероятное сходство” с Москвой, говорит Фонвизин. Здесь ожидал его как секретаря могущественного дипломата, влияние которого было весьма сильно в решении судьбы Польши, блестящий прием. На ассамблее у гетманши Огинской путешественники увидели “всю Варшаву”. Ассамблеи повторялись каждый вечер. “Посол офрировал[7] нам свой дом так, чтобы мы его за наш собственный почитали”. По приезде короля в первый же куртаг посол представил Фонвизина. Король сказал ему, что знает его давно “по репутации” и весьма рад

видеть в своей земле. К нравам, обычаям и пр. Фонвизин относится весьма скептически: “Женщины одеваются как кто хочет, но по большей части *странно”.* “Развращение в жизни дошло до крайности, развестись с женой или сбросить башмак с ноги здесь все равно”. В театре играют хорошо, но польский язык кажется ему чрезвычайно *смешным и подлым.* Еще в Столбцах, не доезжая Варшавы, Фонвизин успевает сделать заключение о необычайной “простоте” и суеверности поляков. Там видел он мощи св. Фабиана, удивляющего всю Польшу чудесами — изгнанием чертей из беснующихся. Нельзя не заметить с первых же шагов предвзятого отношения в том, что коренной житель древней Москвы и Руси дивится суеверию и простоте, будто бы особенно отличающим поляков. В это самое время журнальная сатира энергично боролась с подобной *простотой* на Руси. В самой Москве гадальщицы на кофе играли значительную роль в обществе, и мощи — не менее. Об остальной Руси и говорить нечего. “Особенною характерною чертою старинных людей, выросших в глуши, было суеверие, наследованное ими от глубокой древности”, — говорит Афанасьев. В эту эпоху много еще попадалось в обществе таких *простаков,* которые готовы были искать клады, разрыв-траву и косточку-невидимку; серьезно боялись колдунов и мертвецов и были убеждены, что по ночам домовые собираются в погребах и конюшнях; от души верили, что старинные приметы, сны и ворожба на бобах, кофе и картах непременно сбываются, что беда от дурной встречи неминуема, что просыпанная соль и тринадцать за столом предвещают беду и смерть, и т. п.

Умный и проницательный Фонвизин, не ослепленный блеском шумной, нарядной жизни, естественно, мог предпочитать русскую простоту польской напыщенности, но чрезмерная холодность и какое-то тайное упорство заставляли его закрывать глаза на преимущества встреченной здесь культуры.

За Варшавой следовали Лейпциг, Дрезден, Франкфурт. Немецкие княжества сменяют одно другое, “что ни шаг — то государство!” Фонвизин проехал Ганау, Майнц, Фульду, Саксен-Готу, Эйзенах и несколько княжеств мелких принцев.

> “Дороги часто находил немощеные, но везде платил дорого за мостовую и когда, по вытащении меня из грязи, требовали с меня денег за мостовую, то я осмеливался спрашивать: где она? На сие отвечали мне, что его светлость владеющий государь намерен приказать мостить впредь, а теперь собирает деньги. *Таковое правосудие с чужестранными заставило меня*

сделать заключение и о правосудии с подданными”(!).

Мангейм — резиденция курфюрста пфальцского — произвел наилучшее впечатление на Фонвизина, особенно благодаря любезному приему двора. Лейпциг привел его лишь к доказательству мысли, что “ученость не родит разума”.

Город этот нашел он наполненным учеными людьми, из которых одни считают будто бы главным человеческим достоинством умение говорить по-латыни, “чему, однако ж, во времена Цицероновы умели и пятилетние дети”, другие возносятся на небеса, не зная, что делается на земле. В общем это город, в котором живут *преучёные педанты* и где потому очень скучно. Ломоносов едва ли согласился бы вполне с этим мнением о Лейпциге, как и многие другие, которые, попадая за границу, искали прежде всего знания. Фонвизин, правда, верен себе: перед знанием и разумом он нигде не преклоняется. Его не волнует все то, что свидетельствует о результатах исторической жизни, прогресса, смены поколений и культуры. Во Франкфурте-на-Майне, по долгу путешественника, осматривает он знаменитые останки и памятники старины; но все, что имеет “древность одним своим достоинством”, его не занимает. Он видел “золотую буллу” императора Карла V, писанную в 1356 году, был в имперском архиве и замечает: “Все сие поистине не стоит труда лазить на чердаки и слезать в погреба, *где хранятся знаки невежества”(!).*

Проехав Саксонию, Фонвизин достиг Франции и через Страсбург и Безансон добрался до Лиона, а отсюда — до Монпелье. После успешного лечения жены они отправились в Париж.

С Лиона начинается резкая критика Франции, народа, обычаев и правления. Во многом автор очень и очень прав; описания его часто так живы и картинны, что до сих пор сохраняют интерес, но на всем лежит печать предвзятого, спесивого отношения к превосходству, которого он не хочет признавать, скептического отношения к науке, философии, к предметам всеобщего восторга и удивления, причем в основании такого отрицательного отношения — не исследование, не серьезная критика, а лишь слепое голословное утверждение “мы лучше”, нередко ложные крепостнические взгляды и страсть к передразниванию и пересмеиванию всего чужого.

“Я хотел бы описать многие traits (черты) их глупости, ветрености и невежества, — пишет Фонвизин сестре о французах, — но предоставляю рассказать на словах по моем возвращении. Рассказывать лучше, нежели описывать, потому что

всякое их рассуждение препровождено бывает жестами, которых описать нельзя, *а передразнить очень ловко”.*

Он не брезгает случаем посмеяться над простодушным, доверчивым людом, который удивляется этому русскому барину с его щедростью и расточительностью. “Я думаю, нет в свете нации легковернее и безрассуднее”, — пишет он. Он описывает потом французов, как описывают европейские путешественники кафров и готтентотов.

Впрочем, он ладит везде и нравится всем; его талант передразнивать приносит ему большой успех в обществе, которое он забавляет, особенно у дам. “Я передразниваю здесь своего банкира не хуже, чем нашего Сумарокова”, — пишет он. Критикуя и браня многое в письмах, он, однако, добродушно любезен со всеми и особенно с теми, которых обманывает и осмеивает, обнаруживая чисто русское незлобивое лукавство. “Хороши англичане, — говорит он, отмечая ненависть к ним французов. — Заехав в чужую землю, потому что в своей холодно, презирают жителей в глаза и на все их учтивости отвечают дерзостями”. Его собственное поведение как раз обратно этому; он смеется со своими, но любезен и приветлив везде. Он очень рад, что видел чужие края, “по крайней мере не могут мне импонировать наши Jean de France”, — восклицает он.

> “Оттого ли, что, осмеяв в “Бригадире” повесу, который, побывав за границей, бредит ею наяву, побоялся он сам поддаться обольщению и вследствие того впал в другую крайность, не менее предосудительную, хотел ли он выказать насильственным расчетом ложного самолюбия, что если многие из соотечественников его платили дань удивления и зависти блеску европейского просвещения и общежития, то он готовил ему одно строгое исследование — суд: как бы то ни было, большая часть его заграничных наблюдений запечатлена предубеждениями, духом исключительной нетерпимости и порицаний, которые прискорбны в умном человеке”.

Что еще можно прибавить к этим метким и прекрасным словам князя Вяземского? Разве то, что форма описательная так хороша у Фонвизина, наблюдения часто так метко схвачены и живо переданы, что письма его могли бы иметь огромный интерес и для его и для нашего времени, если бы не эта фальшиво взятая нота.

Исследуя причины такого настроения Фонвизина, князь Вяземский видит в нем ум “коренной русский”, который на

чужбине как-то не у места и связан. Такой ум, “заматерелый”, односторонний от оригинальности своей или самобытности, перенесенный в чуждый климат, не заимствует ничего из новых источников, не обогащается, не развивается, а, напротив, теряет силу и свежесть, как растение, которому непременно нужна земля родины, чтобы цвести и приносить плоды.

Так или нет, в слове “заматерелый” определение явлению дано остроумное. Как иначе назвать ум, которому кажется смешным все, что не похоже на свое, домашнее? И от смешного до презренного для него один только шаг! В театре, в Варшаве, нет удержу его смешливости, так “смешон” и “подл” польский язык.

Во Франции смешит его служба архиерея: “С непривычки их церемония так смешна, что треснуть надобно. Архиерей в большом парике, попы напудрены; словом, целая комедия”(!).

В другой раз он снова описывает обедню и процессию. “Я покатился со смеху, увидя эту комедию, — говорит он. — Подумай, какая разница в образе мыслей”(?!). “Бог знает, что это за обедня, которую служили; толку не нашел”.

Единственное, кажется, что Фонвизин признал за границей, — это лечение. Он с первой же минуты оценил методу знаменитого в то время в Монпелье врача Деламюра.

> “Он целую неделю ходил к нам по два раза в день для того, чтобы, не давая еще никаких лекарств, примечать натуру больной и чтобы по ней расположить образ лечения”.

Жена принимала бульон, который должен был “отнять остроту у крови” и укрепить нервы для принятия от солитера сильного средства, секрет которого был куплен королем в Швейцарии. У нас на Руси медицина, конечно, еще туго развивалась; чаще обращались к знахарям, чем к “немцам”. Новиков, а вернее, “дружеское общество” основало первую аптеку, в которой бедным отпускали лекарства даром. Члены общества на свои средства приобретали также “секреты” врачевания за границей. Этим путем попали к нам в то время знаменитые поныне Гофманские капли. Впрочем, Фонвизин понимал и то, что прекрасный климат Монпелье, перемена в образе жизни и даже само путешествие, несмотря на все трудности, укрепили здоровье жены. При всем своем пессимизме Фонвизин не мог нахвалиться чудным климатом Лангедока, местоположением Монпелъе и должен был признать превосходство путей за границей и сравнительное удобство тамошних гостиниц. Он не может, однако, простить Лиону

перяных тюфяков вместо пуховиков и байковых одеял. “Представь себе эту пытку, — пишет он, — когда с одной стороны перья колют, а с другой войлок(!). Мы с непривычки целую ноченьку глаз с глазом не сводили”.

Лион стоит внимания, признается он, скрепя сердце; однако замечает: “Город изрядный, коего жители по уши в нечистоте”. Грязь во Франции, несомненно, была в то время обильная, особенно в старинных городах с их узкими улицами, несовершенством городского хозяйства и полиции; но у русского человека для такой взыскательности не было оснований. Фонвизин везде говорит о недостатке чистоты в таком тоне, как будто преимущество наше в этом отношении неизмеримо. Между тем даже Вигелъ спустя полвека свидетельствует в своих записках: “Опрятность есть одно из *малого числа(!)* благодеяний, которыми, по мнению моему, Западу мы обязаны”.

Впрочем, и автор писем раз нечаянно обмолвился, описывая собрание штатов в бюргерской зале старинного дома.

> “Здание это называется Gouvernements, похоже, следовательно, на нашу губернскую управу, но именем — не вещию; ибо в здешнюю можно войти честному человеку, по крайней мере, без оскорбления своих телесных чувств”.

Читая у Фонвизина описание зданий, древностей, промышленности, театра и прочих чудес Лиона, трудно понять крутой поворот в его речах: “Господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем”. Он с женой того мнения, что в Петербурге несравненно лучше. Спору нет, да и народная мудрость гласит: “В гостях хорошо — дома лучше”, но Фонвизин точно с ожесточением прибавляет: “Мы не видали еще Парижа, но если и в нем *так же ошибемся,* как в провинциях французских, то в другой раз во Францию не поеду”. Это становится понятным, только если предположить, что для Фонвизина привычки широкой и ленивой русской жизни были гораздо дороже всего того, что было достойно внимания, удивления и изучения в Европе. А между тем послушаем, как говорит он о том же Лионе.

> “В окружности города превысокие горы, на которых построены великолепные монастыри, загородные дома с садами и виноградниками. Как за городом, так и в городе все церкви и монастыри украшены картинами величайших мастеров. *Мы везде были и часто видели то, чего, не видав глазами, нельзя постигнуть воображением. Я не знаток живописи, но по получасу стаивал у картины,*

чтобы на нее наглядеться”.

Можно было бы заподозрить, что эти восторги взяты напрокат у других авторов, как это обнаружено уже в письмах его из Италии, но мы находим подтверждение искренности в следующих словах письма:

> “Каждое утро с рассвета до обеда, а потом до спектакля мы упражнены осмотрением города, а потом ходили в театр, который после парижского во Франции лучший”.

Монпелье — старинный городок, с улицами даже более узкими, чем в Лионе, но с древним университетом, основанным еще в 1180 году, и славнейшим в то время в Европе медицинским факультетом. В Монпелье — съезд государственных чинов Лангедока для суда и сбора податей. Фонвизин очень доволен Монпелье с его La place du Peyrou,[8] откуда видно Средиземное море, а при восхождении солнца — Испания, с его гуляньями и съездом богатых гостей во время созыва штатов. Он вращается в избранном кругу, состоящем из архиепископа Нарбонского, графа Перигора и др. Жена его берет уроки французского языка и музыки, а сам он изучает юриспруденцию.

Впрочем, наши путешественники, несмотря на ласковый прием, чувствуют “какой-то недостаток в сердечном удовольствии”. “Славны бубны за горами, — повторяет снова автор, — мы думали, что во Франции земной рай, но ошиблись *жестоко”.*

В письмах к сестре, к графу Никите Ивановичу Панину и к брату его графу Петру Ивановичу Фонвизин подробно и притом в одних и тех же словах описывает церемонию открытия собрания генеральных чинов. Он в самом деле остроумно и с живой иронией рисует обстановку. Церемония кажется ему интересной по великолепию и “странности древних обычаев”.

> “Многолюдное собрание ожидало прибытия графа Перигора. Все дворянство вышло к нему навстречу, и он занял на возвышенном месте кресло под балдахином, как представитель короля. По правую сторону его архиепископ Нарбонский и двенадцать епископов, а по левую — дворянство в древних рыцарских платьях и шляпах. Заседание началось чтением исторического описания древнего Монпельевского королевства. Прошед времена древних королей и упомянув, как оно перешло во владение французских государей, сказано в

заключение всего, что ныне благополучно владеющему монарху (Людовику XV) надлежит платить деньги. Граф Перигор читал потом речь, весьма трогающую, в которой изобразил долг верноподданных платить исправно подати. Многие прослезились от сего красноречия. Интендант читал со своей стороны речь, в которой, говоря весьма много о действиях природы и искусства, выхвалял здешний климат и трудолюбивый характер жителей. По его мнению и самая ясность небес здешнего края должна способствовать к исправному платежу подати. После сего архиепископ Нарбонский говорил поучительное слово. Проходя всю историю коммерции, весьма красноречиво изобразил он все ее выгоды и сокровища и заключил тем, что с помощью коммерции, к которой он слушателей сильно поощрял, Господь наградит сторицей ту сумму, которую они согласятся ныне заплатить своему государю. Каждая из сих речей сопровождаема была комплиментом к знатнейшим сочленам. Интендант превозносил похвалами архиепископа, архиепископ — интенданта, оба они выхваляли Перигора, а Перигор выхвалял их обоих. Потом пошли в соборную церковь, где спет был благодарственный молебен Всевышнему за сохранение в жителях единодушия к добровольному платежу того, что в противном случае взяли бы с них насильно".

Фонвизин обнаружил много лукавого юмора в этом описании сбора королевской подати "Le don gratuit";[9] но не видно, была ли у него в то же время мысль о преимуществе такой вынужденно-добровольной подати перед той, которую берут в самом деле без всяких просьб и лишних церемоний.

Описывая церемонию, Фонвизин высказывает соображения о значении этих собраний для народной жизни и очень верно рисует злоупотребления власти и двора. Однако вместо того, чтобы видеть причины злоупотреблений в недостаточной еще гласности и свободе действий, Фонвизин полагает, что причина, как во Франции, так и у нас, одна — в недостатках воспитания.

> "Наилучшие законы *не значат ничего,* когда исчез в людских сердцах первый закон, первый между людьми союз — добрая вера. У нас ее немного, а здесь нет и таковой!"

Между тем, говоря о продаже чинов, злоупотреблениях интендантов, о том, "что Франция вся на откупу" и так далее,

Фонвизин замечает, что научился различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ, говорит он, не имеет первой, но последнею “во многом наслаждается”. Напротив того, французы, “имея права вольности, живут в сущем рабстве”. Он разумеет при этом знаменитые lettres de cachet,[10] фаворитов и министров, из которых каждый — деспот в своем департаменте, и так далее. Все это было именно так, но взглянем для примера на его же определение значения lettres de cachet; это *именные указы,* которыми король посылает в ссылку и сажает в тюрьму, которым никто не смеет спросить причины и которые весьма легко достаются у государя обманом и так далее. Так писал Фонвизин об указах французского короля, благодушно восхваляя “действительную вольность” своего отечества. Но не такими ли “именными указами” вскоре были скованы Новиков, Радищев и другие мученики чести и добра, не считая тысяч до них и после… Фонвизин, по-видимому, *не знал* ни о классических продажах должностей в канцеляриях Безбородко, ни о раздаче дворянских титулов кучерам по протекции камердинеров и их любовниц, ни о знаменитых решениях графа Разумовского относительно жалоб хохлов и казаков о беззаконном захвате их земли и хат соседними панами, ни о генерал-прокурорах, подобно князю Вяземскому, вынося на суд государыни дела, ссылавшихся на тот или другой указ так, как им внушали совесть или “расположение”, что выходило едино, потому что совесть *располагали* к решению известные *документы,* ни о фаворитах, алчность которых доходила до того, что Потемкин требовал от Екатерины, чтобы она отдала на откупа пошлину на соль, по его указанию и согласно его расположению к искателям такого служения народу.

Если Фонвизин кривит душою, при сравнении государственного строя Франции и России настаивая на преимуществе последней, то не менее пристрастен он в описании общественной жизни, обычаев, воспитания и национального характера. Нет такого порока, господства которого он бы не отмечал во Франции.

> “Обман почитается у них правом разума. По *всеобщему* их образу мыслей обмануть не стыдно, но не обмануть — глупо. *Смело скажу(!),* что француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице. Божество его — деньги”.

Нам не привыкать стать к обвинениям целого народа или нации и к обобщениям, лишенным смысла, правды и чести. В сороковых годах биограф Фонвизина произнес ему приговор, который останется, конечно, вечным. С прискорбием, а не с

легким сердцем произносится такой приговор одним литератором другому, да еще такому, как Фонвизин.

“Странно кажется, — говорит князь Вяземский, — и об одном человеке произнести такой приговор, когда сей человек не обличен еще судом и разврат еще не доказан; но как позволить себе принять такие общие нарекания к целому обществу, *целому народу?* Не есть ли это род кощунства над человеком и клеветы на самое Провидение? Можно сострадать Жан-Жаку, когда он злословит общество и человека: в красноречивых доводах его мы слышим вопль больного сердца, чувствительности раздраженной, дикий ропот встревоженного воображения; но злословие Фонвизина *холодно, сухо,* оно отзывается нравоучением напыщенного декламатора, никого не убеждает и заставляет только жалеть, что *и светлый ум имеет свои затмения”.*

Правда ли, что “никого не убеждает”? Автор этих строк забыл о массе людей, которые всегда хотят и готовы к тому, чтобы их “убедили”. А с этой массой кто не должен считаться? Если бы письма Фонвизина были обнародованы в то время, они не исправили бы наших “Jean de France”, как их называл Фонвизин, и не “убедили” бы Александра Тургенева, но дали бы опору многим недовольным лучшими заимствованиями самой императрицы.

“Кто сам в себе ресурсов не имеет, тот и в Париже проживет, как в Угличе”. В этом есть своя психология, но Фонвизин стремится этим доказать, что тому, кто имеет “свои ресурсы”, не нужны Париж или Европа!

Подобные выходки не требуют, конечно, опровержения, но для характеристики Фонвизина необходимо наблюдать его в его противоречиях. Имея в себе “ресурсы”, где бы путешественник узнал “систему законов”, которую он изучает уже в Монпелье и о которой говорит:

> “Сколь много несовместимы они (законы) с нашими, столь, напротив того, общие правосудия правила просвещают меня в познании самой истины… Система законов сего государства есть здание, можно сказать, *премудрое,* сооруженное многими веками и редкими умами”.

Так говорит он непосредственно под впечатлением лекций. “Злоупотребления и развращение нравов дошли теперь до крайности и потрясли основания здания, так что жить в нем бедственно, а *разорить его пагубно”,* — продолжает он. Мы знаем, что Франция сумела все-таки выйти победительницей из этой борьбы, сумела пережить разрушение старого порядка. Верное

замечание Фонвизина, что при известном режиме, хотя и “ограниченном законами”, вольность есть пустое право и право сильного остается правом превыше всех законов, конечно, было им почерпнуто у самих же французов, и именно у тех философов, которых он бранил. Фонвизин, однако, намеренно закрывал глаза на то обстоятельство, что эта “вольность пустая” была переходною ступенью к другой, широкой и более прочной, которой народ скоро достиг. В Париже Фонвизин увидел того, кто мощно, как Самсон, потрясал это древнее здание.

> “Руссо твой в Париже живет, как медведь в берлоге, — пишет Фонвизин сестре, — никуда не ходит и к себе никого не пускает. Ласкаюсь, однако же, его увидеть. Мне обещали показать этого урода (Фонвизин почитал Руссо, так что сказано это здесь, по-видимому, добродушно. — *Авт.)*. Вольтер также здесь”.

И он не только здесь, но весь Париж живет, мыслит, дышит в тот момент этим именем. “Этого чудотворца на той неделе увижу…”

Прибытие Вольтера в Париж произвело точно такое же впечатление, говорит Фонвизин, какое произвело бы сошествие божества на землю.

> “В Академии члены вышли ему навстречу. От Академии до театра провожал его народ. При входе его в ложу публика аплодировала без конца, и Бризар как старший актер надел ему на голову венок. Вольтер снял тотчас венок и, заплакав от радости, сказал вслух Бризару: “Ah Dieu! vous voulez donc me faire mourir!” (О Боже! Вы заставите меня умереть!) Бюст его на сцене увенчан был лавровыми венками. Г-жа Вестрис читала обращенные к нему стихи. Карету его провожал с факелами народ”.

Еще более грандиозное торжество имели случай видеть Фонвизин с женой на представлении той самой “Альзиры” Вольтера, которую Фонвизин перевел в своей молодости.

“За нашей каретой ехал Вольтер, сопровождаемый множеством народа, — рассказывает он. — Вышед из кареты, жена моя остановилась на крылечке посмотреть на славного человека. Мы его увидели почти на руках несомого двумя лакеями. Оглянувшись на жену мою, приметил он, что мы нарочно для него остановились, и для того имел аттенцию,[11] к ней подойдя, сказать с видом удовольствия и почтения: “Madame!

je suis bien votre serviteur tres humble”.[12] При сих словах сделал он такой жест, который показывал, будто он дивился сам своей славе”.

Русский барин ничуть не потерялся пред блеском этого божества, и даже здесь в последних словах нашла материал его наблюдательная пересмешливость. Зато описание приема Вольтера таково, что мы, читая, и теперь почти присутствуем при этом:

> “Сидел он в ложе m-me Lebert, но публика не прежде его усмотрела, как между четвертым и пятым актом. Лишь только приметила она, что Вольтер в ложе, то начала аплодировать и кричать, потеряв всю благопристойность (что особенно возмущает нашего спесивого боярина. — *Авт.):* Vive Voltaire! Сей крик, от которого никто друг друга разуметь не мог, продолжался близ трех четвертей часа. Madame Vestris, которая должна была начинать пятый акт, четыре раза принималась, но тщетно. Вольтер вставал, жестами благодарил партер за его восхищенье и просил, чтобы позволил он окончить трагедию. *Крик на минуту утихал,* Вольтер садился на свое место, актриса начинала — и крик поднимался опять… Наконец все думали, что пьесе век не кончиться. Господь ведает, как этот крик прервался, а Вестрис успела заставить себя слушать”.

Все это недостаточно разогрело Фонвизина, и он начинает свой поход против энциклопедистов. “Из всех ученых удивил меня Д'Аламбер. Я воображал лицо важное, почтенное, а нашел *премерзкую* фигуру и *преподленькую* физиономию. Д'Аламберы, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я каждый день на бульваре”, и так далее. “Мармонтель, Томас и еще некоторые ходят ко мне в дом. Люди умные, но большая часть врали”(!). Нельзя отрицать нечто хлестаковское в этих отзывах огулом, напоминающих приведенные выше отзывы о нации вообще. “Здесь все — Сумароковы, разница только та, что здешние смешнее, потому что вид на них важнее”.

Фонвизина вместе с Франклином приглашают как гостей в годовое собрание le rendez-vous des gens des lettres (литературное общество), так как узнают от Строганова, что он занимается литературой. Он очень доволен этой любезностью, но прибавляет, что кроме охоты к литературе имеет он в их глазах и другой “мерит”,[13] а именно “покупаю книги, езжу в карете и живу домом, то есть можно прийти ко мне обедать. Сие достоинство весьма принадлежит к литературе, ибо ученые люди любят, чтобы

их почитали и кормили”.

О нравственности, достоинствах и недостатках философов XVIII века, об их личной жизни столько писали, что защита их не требует усилий и натяжек. Прежде всего, несправедливы были обобщения Фонвизина. Все энциклопедисты имели свои недостатки, но ни один не заслужил грязных и решительных определений его. Легкость нравов, беспечность были в моде как результат распущенной жизни империи и переходной стадии в понятиях, идеях и условиях века. Романы Кребильона, равно как сатира Вольтера, светские хроники, исповедь и переписка не стеснялись ни содержанием, ни формой, допускали даже цинизм выражений. Но отсюда далеко до обвинения в безнравственности и бесчестной корысти, выдвигаемого против величайших людей того времени. Что Д'Аламбер не шарлатан в науке, об этом странно было бы спорить, но что он не был корыстным, доказывает его отказ от денег и почестей, предлагавшихся ему Екатериной, которая приглашала его быть воспитателем великого князя. Д'Аламбер боялся, что будет стеснена его свобода совести или ему придется скоро удалиться, несмотря на весь либерализм Екатерины. Она же предлагала ему сто тысяч в год и разные почести.

Точно так же поступал и Дидро. Княгиня Дашкова писала о нем: “Я очень любила в Дидероте даже запальчивость его, которая была в нем плодом смелого воззрения и чувства”. Екатерина II сама пишет Сепору, как Дидро, во время пребывания в Петербурге, замечая, что она не совершает всех намеченных в разговоре с ним преобразований, “изъявлял свое неудовольствие с некоторым негодованием”, и так далее.

В сочинении Дидро “Племянник Рамо” есть слова, которые лучше всего рисуют, как уживаются в одном человеке разные страсти.

> “Я не презираю удовольствия чувств, у меня также есть нёбо, которому нравится тонкое кушанье и отличное вино; у меня есть сердце и глаза, я могу обладать красивой женщиной, обнять ее, прижать мои уста к ее устам, наслаждаться ее взглядом и таять от радости на ее груди. Мне нравится иной раз и веселый вечер с друзьями, даже вечер распущенный, но не могу скрыть от вас, что для меня *бесконечно слаще* помочь бедняку, кончить щекотливое дело, дать умный совет, прочесть приятную книгу, сделать прогулку с близким другом и т. д. Я *знаю такие дела, что я отдал бы все, что имею, чтобы иметь возможность назвать эти дела своими”.*

Таким именно был сам Дидро! А другой обвиняемый Фонвизиным — Вольтер. Каковы бы ни были нравственные недостатки Вольтера, они не могут уничтожить его славы и достоинства как борца за истину, справедливость, равенство, гуманность и терпимость в самом широком смысле. В этой натуре, “многообразной, как Протей”, соединяются темные и светлые стороны. “Мы обязаны перед Вольтером и его товарищами признать, — говорит Маколей, — что настоящая тайна их силы — пламенный энтузиазм, который во всяком случае скрывался под их легкой натурой”. Определение Маколея, правда, не было известно Фонвизину, но факт должен был быть известен.

Дела Жана Каласа, Сирвена, Монбальи давно уже нашли восторженный отклик в Европе и не были забыты в то время, когда Фонвизин приехал во Францию. Дело Каласа вызвало известное сочинение о терпимости, в котором Вольтер, защищая невинную жертву, требовал правосудия от всего мира. Он добился пересмотра дела, восстановления невинности казненного, и король подарил семье последнего сумму в 36 тысяч ливров. Три года жизни Вольтер неутомимо посвятил этому делу. “Ни разу улыбка не касалась моих губ за это время, — говорил он, — я считал бы ее глубокою несправедливостью”.

Фонвизин поражен невежеством дворян во Франции в сравнении с русской провинцией!.. Лекции юридические, пишет он Панину, баснословно дешевы, так как наука эта никому не нужна “при настоящем развращении страстей” — вывод комический, хотя не связан на этот раз с особенностями таланта автора; “такой бедной учености нет в целом свете”, — замечает он. От Монпелье до Парижа Фонвизин забывает об этой теореме и пишет из Парижа, что ни один знающий человек из Франции никогда уехать не захочет, ибо он всегда там вполне обеспечен(!).

Желая быть справедливым, он находит, что при всем развращении нравов во французах есть сердечная доброта — “добродетель, конечно, непрочная. Самые убийцы становятся таковыми, лишь когда умирают с голоду; как же только француз имеет пропитание, то людей не режет, а *довольствуется обманывать”*. Кстати сказать, как на качество низшей расы смотрит Фонвизин на то, что дворяне терпят от слуг и простых людей удивительные вольности. Лакеи не вскакивают с мест, как Фильки, Фомки и Петрушки, когда “барин” пройдет мимо. За столом каждый служит только своему хозяину, не бросается подавать тарелку кому угодно — из одного “лакейства”, а, напротив, отвечает: “Je ne sers que mon maître”.[14] Наконец, солдат-часовой берет стул и садится у дверей ложи в театре, а на

вопрос удивленного Фонвизина, что это значит, ему отвечают просто: “Он хочет видеть сцену”.

Свои понятия о *разумном рабстве* он приводит в систему.

“Равенство есть благо, — говорит он, — когда оно, как в Англии, основано на духе правления, но во Франции равенство есть зло, потому что происходит *от развращения нравов!..”*

Такое смелое заключение делает он из наблюдения лакейских и передних, — заключение более достойное какой-нибудь советницы в “Бригадире”. Споры в обществе о значении того или другого положения, о политических событиях и т. п. вызывают также его осуждение. “Брат гонит брата за то, что один любит Расина, а другой — Корнеля”, — патетически восклицает он. В этой начинающей развиваться индивидуализации, в развитии личности он видит одно тщеславие, “ибо острота французского ума велит одному брату, любя Расина, ругать язвительно Корнеля и доказывать, что Корнель перед Расином, а брат его перед ним гроша не стоит”. А между тем и у нас в это время в литературе уже начинали считаться партиями, и если форма бывала неприличною, как бывает и поныне полемическая брань, то все же полемика являлась первым признаком начала развития общественности. Сумароков был задирой, но его запальчивость симпатичнее рассудочной холодности Фонвизина. Злоупотребления равенством, как и многие другие, во Франции происходят, по мнению Фонвизина, оттого, что воспитание ограничивается одним учением. Здесь Фонвизин находит основание для мыслей, которые вложит в уста Стародума в своей комедии “Недоросль”. Во Франции нет “генерального плана воспитания”, все юношество учится, а не воспитывается. Мысли о равенстве и воспитании заимствованы иногда целиком, буквально, из сочинений Дюкло и других и выдаются прямо за свои, так что князь Вяземский прав, говоря, что наш автор “на руку нечист”. Вместе с Дюкло Фонвизин забывает о родителях и мечтает о каких-то воспитательных фаланстерах.

“Главное старание прилагают, — говорит он дальше “по Дюкло”, — о том, чтобы один стал богословом, другой живописцем, третий столяром, но чтоб каждый из них стал человеком, того и на мысль не приходит”. Мечтания о создании *новой породы* людей были idée fixe XVIII века. Забывали, что для того, чтобы люди поняли саму необходимость воспитания, также нужно знание. Значение образования ума в смысле воспитательном не признавали люди известной партии. Бецкий взялся осуществить эти идеи в России.

Фонвизин очень ясно видит злоупотребления духовной власти и особенно зло католического воспитания. Замечательно,

что, вступая на почву религии католической, Фонвизин сразу забывает о своем “благоразумии” и становится вольнодумцем, как бы вовсе не признавая религии вне православия. Вследствие этого он не щадит католическое духовенство.

Праздник Fête-Dieu[15] с его мистериями наводит Фонвизина на новые размышления, унижающие французов. Праздничное торжество состоит в шествии, во время которого Святые Тайны носимы бывают по городу в сопровождении народа. Знатные особы наряжаются все в костюмы. Один представляет Пилата, другой Каиафу, и так далее. Дамы и девицы одеты мироносицами. Народ, мещанство, конечно, тоже наряжается, изображая дьявола, чертей и так далее. Роли заранее распределяются и иногда переходят наследственно из рода в род. Во всем этом Фонвизин видит несомненное доказательство, что народ “пресмыкается во мраке глубочайшего невежества”. Что сказал бы француз-путешественник о русском народе, наблюдая наши народные обычаи, общение с домовыми, лешими и тому подобные игры, забавы карлов и переодевания в домах бояр и при дворе, заговоры и заклятия на мельницах и так далее?…

Строгий к философам, Фонвизин не менее строг и к простым смертным. “Правда, что и господа есть изрядные скотики. Надобно знать, что такой голи, каковы французы, нет на свете”. Экономию и простоту привычек он объясняет лишь скаредностью. Он никак не может понять, почему “того же достатка” люди, какие у нас по-барски живут, рады бы к русскому барину в слуги пойти, забывая совершенно даровой труд крепостных, которые одевают, обувают и кормят господ. “Белье столовое так мерзко, — пишет он, — что у знатных праздничное несравненно хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подается”. Плохо верится в такое превосходство нашей опрятности. Кроме свидетельства Вигеля, которое приведено выше, имеется масса указаний на противное в журнальной сатире того времени. “Всякая всячина” так описывает дом одного помещика:

“Пришли сказать, что кушанье поставлено. Мы сели за стол, покрытый скатертью с дырами; салфетки же, по крайней мере уже служили за осьмью обедами да столько же за ужинами. На оловянной посуде счесть можно было, сквозь сколько рук она прошла: ибо всякого пальца знак напечатлен на ней остался”, и так далее.

В Монпелье Фонвизин, зайдя к одной знакомой, предоброй и богатой госпоже, слышит с лестницы внизу ее голос и находит ее на поварне, где она сидит у очага, за столиком, с сыном и со своею fille de chambre[16] и “изволит здесь обедать”. В ответ на его удивление она просто объясняет, что здесь огонь уже давно

разведен и из экономии, чтобы не разводить его в столовой, она обедает здесь. Такую картину и теперь, конечно, часто можно встретить как во Франции, так еще скорее в Англии и во всей Европе. В кухне опрятно и чисто. Прислуга часто член семьи и непременно тот же человек, с которым можно поговорить, потолковать… Фонвизин видит в этом возмутительную скаредность нации, забывая свою же Бригадиршу, которая заботится о свиньях больше, чем о муже, сводит счеты на денежку и, рассуждая о грамматике, доказывает ненадобность ее тем, что раньше чем учить станешь, за нее заплатить надо.

Единственное, кажется, чем безусловно доволен Фонвизин, что оценил он по достоинству, — это театр. Комедию находит он доведенной до возможной степени совершенства. Это лучшее, что он видел в Париже. Трагедию нашел он хуже, чем воображал. Место покойного Лекена занял Ларив, “которого холоднее никого быть не может”. Он, однако, считался украшением театра и после Фонвизина, до Тальма. “В комедии есть превеликие актеры: Превиль, Моне, Бризар, Оже, Долиньи, Вестрис и др. Вот мастера прямые! Когда на них смотришь, то, конечно, забудешь, что играют комедию, а кажется, что видишь прямую историю. Одобрение публики, однако, — говорит Фонвизин, — ничего не стоит; французы аплодируют за всё про всё, даже до того, что если казнят какого-нибудь несчастного и палач хорошо повесит, то вся публика аплодирует палачу, точно так, как в комедии актеру”. Если что еще, кроме театра, нашел Фонвизин во Франции в цветущем состоянии, то это мануфактуры, начиная со знаменитых шелковых мануфактур Лиона. “Нет в свете нации, которая бы имела такой изобретательный ум, как французы, в художествах и ремеслах. Но модель вкуса, Франция в то же время — соблазн нравов. Я хаживал к marchandes de modes[17] как к артистам и смотрел на уборы и наряды как на картины. *Сие дарование природы послужило много к повреждению их нравов”,* — замечает он, не греша глубиною взгляда.

По поводу смелых обобщений Фонвизина (он доводит их чуть ли не до того, что белье чинят во Франции голубыми нитками) князь Вяземский приводит анекдот о путешественнике, который, проезжая через один немецкий город, видел, как в гостинице рыжая женщина била мальчика, и заметил в своих путевых записках: “Здесь все женщины рыжи и злы”. При всей парадоксальности этого сравнения оно зачастую оправдывается письмами Фонвизина.

Масса противоречий — вот естественный результат такой системы. Другой анекдот, еще более характерный в применении к письмам Фонвизина, рассказан князем Юсуповым. Один из наших

патриотов во время пребывания своего в какой-то иностранной столице на все, что ни показывали ему, твердил: “Chez nous mieux” (у нас лучше). Однажды шел он по улице со знакомым, и встретили они пьяного: “Что ж, не скажете ли и теперь: “Chez nous mieux” (у нас (напиваются) лучше)?” Не этот ли смысл заключен в словах Фонвизина, когда он, не довольствуясь фразами вроде “славны бубны за горами”, порицанием и немилосердной бранью французов и критикой всей Европы, кончает уверением, что “у нас все лучше и мы больше люди, нежели немцы”. Немцы — находит он — гораздо почтеннее, нежели французы, вследствие чего трудно понять, что означают его же слова: “Вот уже немцы, так те, кроме как на самих себя, ни на кого не похожи”, в то время как во французах находит он большое сходство с русскими, “не только в лицах, но и в обычаях и ухватках. По улицам кричат точно так, как у нас, и одежда женская одинакова”.

Париж называет он в первом письме оттуда *“мнимым* центром человеческих знаний и вкуса”. В следующем пишет он: “Париж может *по справедливости* назваться сокращением целого мира”, так что не без основания жители этого города “считают его столицею света, а свет — своею провинцией”. Это самохвальство сильно шокирует, однако, нашего автора, но все же он и в письме к сестре говорит: “Что же до Парижа, то я выключаю его из всего на свете. Париж отнюдь не город, *его поистине назвать должно целым миром”.* Это признание не мешает ему доказывать, что кто свои “ресурсы” имеет, тому все равно, где жить, хоть бы и в Угличе, и не мешает уверять “чистосердечно” графа Н. И. Панина, что если кто из молодых сограждан наших вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, то самый верный способ излечить негодование — это послать такого гражданина скорее во Францию! Мы знаем, однако, имена негодовавших людей, которые не сумели так удачно воспользоваться европейскими уроками. Александр Тургенев привез совсем другие впечатления из Европы и Геттингенского университета.

Одновременно с Фонвизиным посетил Францию другой иностранец, иначе взглянувший на эту страну. Сравнив письма Фонвизина с его отзывом, увидим, как несправедлив и односторонен взгляд нашего соотечественника. Отзыв иностранца — это мнение знаменитого историка Гиббона. “Говорите что вам угодно о легкомыслии французов, но я уверяю вас, что в 15 дней моего пребывания в Париже я слышал более дельных разговоров, достойных памяти, и видел больше просвещенных людей из порядочного круга, чем сколько случалось мне слышать и видеть в Лондоне в две-три зимы”.

Как прискорбно сравнивать этот правдивый и скромный

отзыв великого историка и гениального человека со спесивыми, незрелыми и предвзятыми обобщениями нашего автора, который не понял коренных свойств французской нации: ее бодрого веселья, умения работать, шутя, и сохранять любезность, не теряя достоинства.

ГЛАВА III
«Недоросль» — «Вопросы»

По возвращении из-за границы Фонвизин написал “Недоросля”, а некоторое время спустя поместил в “Собеседнике” знаменитые “Вопросы”, доказав, таким образом, своим личным примером, что видеть несчастную Францию еще недостаточно, чтобы отказаться от недовольства своим. Если признать, что такое отношение к просвещенной стране есть патриотизм, то естественно, что “Недоросль” и другие произведения Фонвизина будут выражать уже не любовь, а ненависть и презрение к своей стране. Не вернее ли признать, что такого рода патриотизм есть подобие той любви, которую Простакова нашего славного комика питает к своему Митрофанушке, о котором она с материнскою гордостью говорит Стародуму: “Мы делали все, чтобы он стал таков, каким ты его видишь”.

Между “Бригадиром” и “Недорослем” 16 лет жизни автора, его развитие от юности до полной зрелости. Вместе с тем это время захватывает один из интереснейших периодов русской истории — первую половину царствования Екатерины II, выразителем идей которой является сам Фонвизин в своей знаменитой комедии. Как в “Бригадире”, так и в “Недоросле” Фонвизин представил “во весь рост” типы ему современные, живые “подлинники”, но они жили до него и продолжали жить еще долго после — это типы вековые, патриархальные.

Фонвизин писал из-за границы Булгакову:

> “Не докучаю Вам описанием нашего вояжа, скажу только, что он доказал мне истину пословицы: “Славны бубны за горами”. Если здесь прежде нас жить начали, то по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе *такую форму, какую хотим,* и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились. Nous commençons et ils finissent.[18] Я думаю, что тот, кто родится, посчастливее того, кто умирает”.

Так оптимистически смотрел автор на будущее. Время разрушило скоро эту иллюзию, навеянную блестящим началом царствования Екатерины. Вернувшись домой, Фонвизин скоро стал менее уверенным; по крайней мере можно думать, что он знал, о чем говорит, предлагая в “Собеседнике” вопрос: “Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостью, потом же оставляются, а нередко и совсем забываются?”

Императрица ответила ему на это: “По той же причине, по которой человек стареется”, — один из тех ответов, которыми Екатерина думала убить смысл этих вопросов в мнении общества. Более определенный ответ и пояснение находим в разговоре ее с Дидро, о котором упоминали выше и который состоялся в приезд Дидро ко двору Екатерины в 1773 году. В ответ на проявление некоторого негодования по поводу намеченных, но оставленных втуне преобразований, Екатерина ответила философу: “M-r Дидерот! *Я слушала с большим удовольствием все,* что внушает вам блистательный ваш ум; но со всеми великими вашими правилами, которые очень хорошо понимаю, сочиняют хорошие книги и делают вздорные дела. Во всех ваших планах и преобразованиях вы забываете разницу в нашем положении: вы имеете дело с бумагой, которая очень терпелива; она гладка, уклончива и не ставит препятствий ни воображению, ни уму вашему, тогда как я, бедная императрица (!), должна иметь дело с самими людьми, которые раздражительнее и щекотливее бумаги”.

“Я уверена, — пишет императрица Сегюру со странной иронией, — что после того он сжалился *из снисхождения к моему рассудку,* как весьма тесному и простонародному. С этого времени он рассуждал со мной только о литературе, и *политика исчезла из наших разговоров”.* Видим отсюда также, как несправедливы были обвинения в адрес энциклопедистов со стороны Фонвизина. В самом деле, Дидро, как и Вольтер, чувствовал себя не менее могущественным в мире, чем самодержавный король, он мог сохранять отношения только равные, хотя и почтительные по этикету. Екатерине не нравились и речи любимых философов, едва лишь они становились несколько настойчивы, принципиально строги, выходили из области одних умных разговоров, тем менее могли ей нравиться вопросы, подобные приведенному выше, у себя дома. Однако вопрос Фонвизина, несомненно, гораздо ближе нынешнему взгляду исторической критики на начинания Екатерины II, чем ответ ее Дидро.

К счастью, позже она одумалась. Ее знаменитый “Наказ”, вольные типографии, покровительство литературе остались не только фактами эпохи, но живым воплощением духа времени. Вольные типографии скоро неволею закрылись, но уже не могли оставаться закрытыми долго: это возбуждало невидимый, но опасный зуд. Журнальная сатира тоже сделала свое, приучив общественное мнение к гласности. И хотя “Наказ” остался на бумаге, но идеи гуманности, приверженность истине и философии, провозглашенные на троне, оставили свои семена, которые, прозябая до времени под снежным саваном, пустили

крепкие ростки.

Пересадка идей французской философии на русскую почву имела характер пересадки тепличной культуры, так как явилась лишь результатом страстного увлечения Екатерины II энциклопедистами до восшествия ее на престол; эта культура должна была заглохнуть с той минуты, как переменилось направление, но просветительные тенденции века проникали повсюду, хотя медленно, многими путями. Так, едва заметные струйки европеизма проникали в Россию уже к концу XVII века через устную и письменную литературу, через влияние немецкого театра на русские мистерии при царе Алексее Михайловиче, и пр.

"В старинных сказаниях нашего народа (особенно северян), — говорит Веселовский, — даже в местных житиях часто повторяется мотив таинственного пришествия неведомых людей из туманной дали, подплывающих к русской земле или по морским волнам, или по какой-нибудь из широких русских рек. Фантазия, настроенная на чудесный лад, привыкшая облекать в таинственные образы всю окружающую суровую природу, создавшая свою демонологию под завывания бури, стук дождя и давящий мрак, не могла не облечь в загадочность и своих столкновений с далекими чужаками. С тревогой и замиранием сердца обращал русский человек свои взоры в ту даль, которая могла выслать к нему своих диковинных представителей. И действительно, со временем показывались они; *но век от века их обличье менялось,* и из сумрака вырезывались определенные, осязательные человеческие черты. В далекую старину оттуда приплывал богатырь чудовищно сильный, с ратью нездешней; оттуда же показался потом Антоний Римлянин, занесенный морским теченьем в благочестивую русскую землю; оттуда стали приходить к новгородцам их иностранные гости, занося с собой стремления к религиозному свободомыслию, оставляя зародыши ранних русских сект; оттуда прикочевали со своим станком первые учители печатного дела и оттуда же заносили свой энтузиазм, свою страстную, энергическую пропаганду такие необычные личности, как Максим Грек и Крижанич. Туман мало-помалу расходился, даль перестала казаться зловещею; она начинала уже действовать заманчиво, привлекательно; недаром видели мы, что в нее уже уходило безвозвратно столько молодых сил и способных людей".

В таком переходном состоянии застали русскую жизнь петровские преобразования. Сразу все, что еще могло казаться страшным и таинственным, было внимательно изучено; дневной свет озарил и международные отношения, и разницу культуры; благодаря деловому, практическому реализму наметились цели

для дальнейшей ускоренной работы. Она не могла не создать крупных неудобств, неровностей; переход от медленного движения к форсированному маршу не мог обойтись без этого. Усиленная подражательность во всем также явилась неизбежным следствием переворота. Но если не рассматривать данное явление исключительно в русской обстановке, а поискать аналогии в жизни более культурных народов, то сам факт утратит в значительной степени тот безотрадный характер, который ему так часто приписывают. Не один только русский народ испытал на своем веку пору повальной подражательности чужим образцам, пору порабощения вкуса и образа мыслей; не в одной лишь России приходилось сетовать на разверзшуюся пропасть, отделившую образованные сословия от народа, и не на одного Петра падает исторический грех, которым его готовы при каждом случае попрекнуть наши “литературные староверы”. Ни для кого не тайна, что сама журнальная сатира, осмеивавшая подражание, была лишь сколком с английской сатиры того же рода, так как в свое время, в дни Попа и Аддисона, Англия пережила период галломании. Если исключить письма Фонвизина, чем, как не галломаном, явится он сам в своих “Вопросах” и в теоретических рассуждениях Стародума, несмотря на патриархальное русское имя черпавшего смело из сочинений Дюкло, Дюфреня, Лабрюйера, даже из словаря синонимов Жирара. “Недоросль”, “Бригадир” и журнальная сатира екатерининского века тесно сплетены между собою. “Бригадир” особенно осмеивает галломанию, как и журналы Новикова и др. Но авторам русской сатиры лучше всего было известно, как пережили подобный период другие народы, не утратив народности своей. Знал об этом и Фонвизин, когда переделывал героя Хольберга, Jean de France, в Иванушку, знали и другие о французском пленении Германии после Тридцатилетней войны. И какой же это был плен! Вслушайтесь в те жалобы, которыми разражаются редкие самоотверженные патриоты, и безотрадность положения покажется поразительною. В глазах умного сатирика Логау Германия являлась тогда лакеем, носящим ливрею своего французского господина. Постоянные поездки знати во Францию, господство моды во всем, пренебрежение к народному и низкому, изысканный слог чопорной литературы, преимущественно предназначенной процветать или в гостиных, или в душной атмосфере педантически настроенной аудитории, — *всё это* черты, как будто списанные с русской действительности XVIII века, но с красками еще сгущенными; и как долго идет борьба против этого жалкого, ограниченного чужебесия, как часты указания на оторванность литературы от народа! Об этом

горевал, например, Лейбниц; а чуть не столетие спустя (1778) Гердер мог снова повторить о своем времени почти те же мысли… “Мы проснулись, — говорит он, — в ту пору, когда солнце стояло везде на полудне, а у некоторых склонялось к закату. Придя слишком поздно, мы стали подражателями, потому что нашли множество предметов, достойных подражания”. И Гете признавал, что литература немецкая образовалась в чужеземной школе, но, несмотря на долгий период порабощения, который сменило потом сознательное сближение, немецкая литература вышла на свет и заявила о своей самостоятельности, не поступившись общечеловеческими симпатиями.

И Русь пробудилась поздно и нашла много элементов для подражания.

Наряду с полезным явились и злоупотребления. Сатира Фонвизина, Новикова и других объявила войну злоупотреблениям этого рода, как и диким явлениям ветхого быта.

В шуточном стихотворении, напечатанном в журнале “Ни то ни се”, описывается возникновение другого журнала. Стихотворение начинается словами:

Имев от должности свободное мы время…

Сама по себе литература в самом деле не была “делом”, занимались ею лишь в свободное от должностей время. На Фонвизине в особенности должно было это отозваться, так как место, занимаемое им при графе Панине, вовлекало его в труды, интриги и заботы, оставлявшие мало времени и душевного спокойствия для занятий литературой. С другой стороны, личность и труды графа Никиты Ивановича Панина имели, несомненно, большое влияние на развитие ума и направление деятельности Фонвизина. Близость автора к самому источнику власти отразилась на развязке комедии “Недоросль”, напоминающей развязку “Тартюфа” Мольера. Добрый гений в лице Правдина, правительственного комиссара, является на защиту угнетенной невинности. Эта сторона комедии, прославлявшая руководящую идею царствования Екатерины — идею просвещенного деспотизма, еще не создала бы славы автору.

Выше всех современных ему писателей ставит его та значительная доля комического в его даровании, которую обнаружил он в своей комедии. Многие уже в то время поняли, как много сделал Фонвизин в этом произведении. Говорят, Потемкин сказал ему: “Умри, Денис, или больше не пиши”. О

достоинствах этой “комедии нравов” теперь поздно говорить, — она дала право Фонвизину на имя “русского Мольера”. Для биографа Фонвизина она же остается кульминационным пунктом, так как в ней автор запечатлел существенный исторический момент в развитии русского общества.

“Эти немногие типы, — говорит г-жа Щепкина о семье Болотова, — и черты нравов сельского дворянства служат некоторым образом пояснительной иллюстрацией к комедиям Фонвизина. Это та почва, на которой росли скотинины, простаковы со своим потомством, мирными неучами или звероподобными митрофанами, вроде того юноши, которого отец собственноручно сажал на цепь. Эта глава записок вполне объясняет неизбежность существования известного контингента совершенно безграмотных дворян, за которых под наказом 1767 года прикладывали руки по доверенности”.

С другой стороны, пробуждение человеческого чувства шло вперед, хотя до Екатерины не имело твердой почвы; так, выражалось оно успехом масонских учений, но бросалось в глаза как подозрительное исключение, вызывало или насмешки, или преследование. Новейшие литературные раскопки раскрывают явления в этом духе чрезвычайно характерные. Помещик Нармацкий в Шуране устраивал периодические нападения на суда, проходившие по Волге, нападал с шайкой дворовых и беглых на воеводскую канцелярию “конно и оружно” и уничтожал компрометирующие его бумаги. В 1773 году он был посажен в тюрьму и сослан в Тобольск, причем не помогли даже хлопоты соседа его по имению Сахарова, камердинера Екатерины. В Тобольске, по преданию, он был утоплен в Иртыше по приказанию всесильного губернатора Чичерина, на которого послал донос, перехваченный последним. Сын этого самодура — совершенно иного характера и все же во вкусе того самого века. Учился он вместе с Державиным в только что основанной гимназии в Казани. Из военной службы вышел в отставку поручиком и поселился в наследственном Шуране. У него бьшо “чувствительное сердце”, поэтому он не стал заниматься хозяйством, а поручил это дело тетке, княгине Волховской, которая отличалась до того жестоким обращением с крестьянами, что, по преданию, была ими убита. Таковы предания века Фонвизина и Екатерины П. Чувствительный юноша, пока тетка правила, зачитывался *масонскими* и мистическими книгами, был проникнут религиозностью, переходившей в мистицизм, и любил размышлять о суете мира сего. Он любил строить церкви, обращая особенное внимание на музыкальность звона церковных колоколов. До сих пор народ считает весь “колокольный звон” от

Шурана до Казани сооруженным Петром Андреевичем Нармацким. Он возмущался помещичьим произволом, объяснял крестьянам, что Бог создал всех людей свободными, и мечтал об освобождении своих людей (которых, однако, по бесхарактерности не сумел избавить даже от произвола тетки — одного из “подлинников” Простаковой). Такое “умоначертание”, как выражались в прошлом веке, естественно, не нашло сочувствия в соседях и почиталось за более вредное, чем все самодурства и преступления его отца. Дворяне казанские подали прошение Екатерине II о сумасбродных намерениях его. Та самая рука, что покарала отца, дикого барина, тяжело легла теперь на сына. По высочайшему повелению он был вытребован в Нижний Новгород. Неизвестны подробности суда и следствия, так как, несмотря на вольные типографии, сведения о подобных тяжбах не печатались, но Петр Андреевич был признан сумасшедшим и оставлен на жительство в Новгороде, где и умер.

Просвещенный деспотизм оказался, таким образом, на высоте своей задачи, и если бы дело это попало в руки Правдина, то его, вероятно, вскоре заменили бы другим исполнителем.

В недавно найденной и обнародованной в сборнике Общества любителей российской словесности повести Белинского “Дмитрий Калинин” есть тирада против крепостного права; для смягчения ее сделано, цензором вероятно, примечание:

> “К славе и чести нашего попечительного правительства подобные тиранства уже *начинают* совершенно истребляться. Оно поставляет для себя священною обязанностью пещись о счастии каждого человека, вверенного его отеческому попечению, не различая ни лиц, ни состояний. Доказательством сего могут служить все его поступки и, между прочим, указ о наказании купчихи Аносовой за тиранское обхожденье со своею девкою и городничего за попущение оного. Этот указ должен быть напечатан в сердцах всех коренных россиян, умеющих ценить мудрые распоряжения своего правительства, напоминающие слова нашего знаменитого, незабвенного Фонвизина: “Где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, — там человечеству не могут не возвращаться права его; там все *скоро ощутят,* что каждый должен искать своего счастья и выгод в том, что законно, и что угнетать рабством себе подобных есть беззаконие”.

Довольно прискорбно, что полвека спустя после “Недоросля” повторяются те же слова и в том же смысле, будто рабство может

и не угнетать при “просвещенном деспотизме” правительства. Как далеко все это от нашего времени, когда личность завоевала себе такие права, по крайней мере в сознании просвещенных людей. Время Фонвизина было эпохой начала осознания прав личности, и он сам явился великим выразителем этого осознания, конечно, не в речах Стародума и Правдина, но в художественном изображении гнусного произвола. Он явился самым талантливым выразителем того состояния поры просвещения, которое породило Новикова, Радищева, “Дружеское общество”, дружную и горячую борьбу журнальной сатиры и “Наказ” Екатерины.

Европейские понятия не только поверхностно влияли на менее серьезную часть общества, как мода, доводившая до потери собственного языка, но воздействовали и самым глубоким образом на умы даровитейших людей, питавших горячее желание быть полезными своему народу. “По позднейшему жаргону, — говорит Пыпин, — Ломоносов, Новиков, Карамзин были самые несомненные западники, но мало людей, которые могли бы быть поставлены в уровень с ними по великой национальной заслуге”. С другой стороны, несмотря на крайнее “славянофильство”, проявленное Фонвизиным в его письмах, к счастью неизвестных его современникам, мы, конечно, отдадим ему первое место в ряду тех же западников — просветителей родины.

Кто же читал и понимал Фонвизина? Ответ на это находим в литературных очерках академика Л. Н. Майкова:

> “С воцарением Екатерины II совпадает заметный переворот в жизни русского общества: на поприще государственной и общественной деятельности выступили новые люди, благодаря которым значительно подвинулось общественное развитие. В сравнении с поколениями, действовавшими прежде, люди, выдвинутые новым правительством, были более образованные и более ценившие образование. Многие из них ясно сознавали понятия гражданского долга и имели твердые нравственные принципы: это поколение дало депутатов для комиссии нового уложения *и создало успех сатиры Фонвизина* и журналов 1769-74 гг. Еще в конце царствования Елизаветы литературные деятели из этого поколения стали заявлять свою пропаганду просветительных и гуманных идей”.

Эти заявления были робки и беспочвенны до воцарения Екатерины II; последняя дала им возможность окрепнуть, так как она, по выражению Державина, “и знать, и мыслить дозволяла”.

К сожалению, “подозрительность”, как яд в крови,

продолжала свое существование, скрываясь в глубине организма, но проявилась снова с иссушающею силой и достигла апогея в то время, когда Екатерина писала о Новикове, приказывая доставить немедленно из Москвы в Петербург “сего бездельника”. Этого бездельника она благодарила когда-то “за приписку ей своих сочинений”.

Умному человеку не трудно было стать сатириком в прошлом веке, но трудно было выдержать борьбу. Фонвизин скоро испытал это на себе.

В 1782 году “Недоросль” не только был напечатан, но и появился на сцене, разрешенный, благодаря положенной в основание пьесы мысли о спасительном величии власти, несмотря даже на несколько вольные рассуждения Стародума о жизни и службе при дворе. Дозволение было дано самой императрицей — цензура не решалась. По крайней мере, Фонвизин пишет в то время Медоксу, содержателю театра в Москве:

> “Брат мой, я надеюсь, передал Вам, любезный Медокс, *известный пакет* и объяснил принятое мною решенье (вероятно, обратиться к императрице. — *Авт.*) для уничтожения толков, возбуждаемых упорством вашего цензора. Продолжительное ваше молчание слишком ясно доказывает мне неуспех ваших стараний, чтобы получить позволение. *Я положил конец интриге* и, кажется, тем достаточно доказал прямое согласие (?) на представление моей пьесы, потому что 24 числа сего месяца придворные актеры ее императорского величества играли ее на публичном театре, по письменному дозволению от правительства. Успех был полный. Бесконечно желая вам добра, оставляю мою пьесу; но требую от вас честного слова непременно сохранить мой аноним, с условием — никому не давать моей комедии и ни под каким видом не выпускать ее из ваших рук, ибо не хочу еще давать ей публичности. Весь Ваш.

Вы можете уверить господина цензора, что во всей моей пьесе, следовательно и в местах, которые его так напугали, не изменено ни одного слова”.

Ободренный успехом комедии, главное же — одобрением и снисходительностью Екатерины, автор, находящийся в полном расцвете таланта и умственных сил, в следующем году послал в “Собеседник” свои “Вопросы”.

В 1783 году княгиня Дашкова назначена была президентом

Академии наук и основала при ней периодическое издание — “Собеседник”. Первый выпуск разошелся в количестве 1812 экземпляров, громадном по тому времени, когда и 200–300 экземпляров уже означали успех. В этом журнале сотрудничала сама императрица, помещая известные свои “Были и небылицы”. Екатерина часто упоминает здесь о “Майоре С. М. Л. Б. Е.”, то есть о самолюбии, которое побуждает писать и угождать вкусу читателей. Она уверяла, что не придает никакого значения своим безделкам и побуждает ее писать только страсть марать бумагу. Она не может видеть, говорит она, два новых пера, которые ежедневно приготовляет ей камердинер, чтобы им не улыбнуться и не ощутить охоту их опробовать. Хотя или нехотя, она, однако, задавала тон современной ей литературе, так как всем приходилось следовать за ней. Она же понимала сатиру только “в улыбательном духе”, то есть писать следовало так, чтобы никого не обидеть. Княгиня Дашкова жаловалась, что князь Вяземский, генерал-прокурор, все относит или к себе, или к жене своей и потому ей делает неприятности. Екатерина осмеяла такую обидчивость в своих “Былях и небылицах”; в ответ на жалобы *Угадаева* она пишет:

“Люди тут, т. е. в “Былях и небылицах”, безыменные, а описывается умоположение человеческое, до Карпа и Сидора тут дела нет. Буде же Карп или Сидор сердится и желает быть описан лучше, пусть пришлет описание своей особы; от слова до слова внесется в “Были и небылицы”.

Тем не менее, из всех вопросов Фонвизина задел ее больше всего тот, который указывал, по ее же догадке, на личность ее обер-шталмейстера Льва Нарышкина. Этот знаменитый 14-й вопрос гласил: “Отчего в прежние времена шуты, шпыни[19] и балагуры чинов не имели, а нынче имеют и весьма большие?”

Екатерина ответила на это: “Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей вопрос родился от *свободоязычия,* которого предки наши не имели: буде же бы имели, но начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших”. Вопрос сильно задел самолюбие императрицы, так как Нарышкин был ее любимцем исключительно за его шутовской нрав и принадлежал к ее интимному кружку еще тогда, когда она была великой княгиней.

“Лев Нарышкин был рожден арлекином, — говорила она сама, — и если бы не его происхожденье, то он, конечно, нашел бы, чем существовать. Никто не заставлял меня столько смеяться, как он”. Он уверял однажды императрицу, что у попугая язык устроен, как у человека. “Je ne savais pas cela, je donnerais à la perruche la surwivance de votre charge” (Я не знала этого, я сделаю попугая вашим преемником), — ответила она, смеясь. О нем

пишет Державин:

Что нужды мне, что по паркету
Подчас и кубари пускал?

Факт, о котором свидетельствует также герцог де Линь.

Что нужды мне, кто все зефиром,
С цветка лишь на цветок летя,
Доволен был собою, миром,
Шутил, резвился, как дитя?
Хвалю тебя, ты в смысле здравом
Пресчастливо провел свой век.

Екатерина писала также Гримму: “Вы непременно должны знать, что я до страсти люблю заставлять обер-шталмейстера говорить о политике; для меня нет большего удовольствия, как давать ему устраивать по-своему Европу”.

Называя Нарышкина “невеждой по ремеслу”, она любила забавляться с ним, как и с любимой своей комнатной собачкой, и задумывала целую поэму “Леониана”, черновой набросок плана которой найден Пекарским. Судя по этому черновому наброску, в шуточных приключениях героя поэмы должна была заключаться его характеристика. Один из иностранцев при русском дворе пишет в своих записках:

> “Хотя то, что мы читаем в истории о шутах при Петре Великом, и не сохранилось совершенно в том же виде доныне, но и не вывелось окончательно. Лишь в немногих домах имеется шут на жалованье, но какой-нибудь прихлебатель или униженный прислужник исправляет его должность, чтобы угождать своему начальнику или покровителю. При дворе обер-шталмейстер Нарышкин, *самое странное существо,* какое только можно вообразить, играет столь унизительную роль. При князе Потемкине она принадлежит одному полковнику (С. А. Львов), который ищет повышения помимо военных подвигов, в других домах тому, кто желает кормиться, не тратя ни гроша”.

Страсть к передразниванию, говорит тот же свидетель, очень сильна у Потемкина, и отсюда благоволение его к другим, обладающим этим талантом.

Фонвизин не отрекается и даже хвастает тем, что он передразнивал Сумарокова в домах вельмож, и так как в его письме к родным есть указание на то, что Потемкин по его просьбе обещал его брату производство, то нельзя не допустить, что именно этим способом он приобрел такое расположение надменного фаворита, ибо сам не занимал тогда никакого положения — ни общественного, ни литературного. Однако нет оснований думать, что он пользовался милостями Потемкина также и впоследствии, находясь на службе у Панина, так как вельможи эти не ладили, а Фонвизин был достаточно честен, чтобы оставаться верным Панину, которого он глубоко уважал.

Кстати заметим, что иностранец, пишущий о России, делает из своих наблюдений столь же поспешное заключение, как сам Фонвизин, описывающий свои заграничные ощущения. Он говорит: “Это дарование (переимчивость) нередко в здешней стране и проистекает, я думаю, из свойства нации, которая ничего не изобретает, но с величайшею легкостью воспроизводит все, что видит”.

Императрица, которой княгиня Дашкова представила “Вопросы” Фонвизина, позволила их напечатать, но не иначе как параллельно со своими ответами, — так они и появились в “Собеседнике”. Она писала княгине Дашковой, что в таком виде сатира эта будет безвредна, “если только повод к сравнениям не придаст большей дерзости”.

Ответы Екатерины не только не придали “дерзости” сочинителю “Вопросов”, но заставили его немедленно повернуть фронт. В письме, помещенном вместе с “Вопросами”, он выражал надежду, что “Вопросы” и ответы на них “Собеседника” будут и дальше продолжаться, образуя “неиссыхаемый источник размышления”. После ответов императрицы, которые ясно показали, что она вовсе не намерена в Данном случае “отверзать двери истине”, и особенно после намека на “свободоязычие” Фонвизин оставил намерение и дальше задавать свои вопросы.

Были эти вопросы смелы или невинны? По всей вероятности, Фонвизин не ожидал неудовольствия со стороны Екатерины. Самые смелые из литераторов того времени все же шли за ботиком Екатерины и если имели иногда поползновение опередить его, то действовали весьма робко, разведками. Известно, что распространившиеся в период между 1769–1770 годами сатирические журналы с “Трутнем” во главе сразу почти исчезли без всякой видимой причины, и скоро остались только “Всякая всячина” и “Трутень”, дни которого, однако, также были уже сочтены. Дело в том, что смелость сатиры, вообще довольно робкой, по мнению Екатерины уже перешла намеченные ею

границы “в улыбательном духе”. Явных же мер к прекращению журналов принимать не пришлось, так как при существовавшем в то время тесном общении двора и литературы настроение первого сейчас же непосредственно отражалось на второй.

Недавно только найден Пекарским в бумагах Екатерины II черновой *собственноручный* набросок письма Правдомыслова (псевдоним императрицы) к издателю “Всякой всячины”, которое не было тогда напечатано и как бы предугадывало вопросы Фонвизина. “Госпожа бумагомарательница, “Всякая всячина”, — гласит письмо, — по милости Вашей нынешний год отменно изобилует недельными изданиями. Лучше бы мы любили изобилие плодов земли, нежели жатву слов, которую Вы причинили. Ели бы Вашу кашу да оставили бы людей в покое: ведь и профессора Рихмана бы гром не убил, если бы он сидел за щами, а не выдумывал *шутить с громом”.*

Если бы письмо это в свое время было напечатано, кто знает, вздумал ли бы Фонвизин задавать свои вопросы императрице? Предостережение “не шутить с громом” оказалось бы, вероятно, достаточно *внятным* и вразумительным. К счастью, в этот период колебаний подозрительность таилась в подобных черновых набросках.

Несколько лет спустя, когда появилась комедия императрицы “О время!”, Новиков первый снова ободрился и начал издание “Живописца” обращением к сочинителю комедии “О время!”: “Вы открыли мне дорогу, *которой я всегда страшился…”*

И Фонвизин в своих “Вопросах” следовал за Екатериной; но из ответов ее, при сравнении их с вопросами, видно, как велика могла быть разница в отношении к предмету автора и императрицы.

Получив “Вопросы” Фонвизина, императрица сказала только: “Мы ему отомстим” — она предположила совсем другого автора, а именно И.И. Шувалова, которого изобразила в карикатурном виде в своих “Былях и небылицах”. Здесь же, устами *дедушки,* выразила она и все свое неудовольствие смелостью автора.

> “Молокососы, не знаете вы, что я знаю. В наши времена никто не любил вопросов, ибо с оными и мысленно соединены были неприятные обстоятельства; *нам подобные обороты кажутся неуместны;* шуточные ответы на подобные вопросы не суть нашего века; тогда каждый, поджав хвост, от оных бегал… Когда дедушка дошел до шпыней, тогда *разворчался необычайно крупно,* говоря: шпынь без ума быть не может, в шпыньстве есть острота; за то, продолжал он, что человек остро что

скажет, ведь не лишить его выгод тех, кои даются в обществе живущим или служащим”(!).

В письме к сочинителю “Былей и небылиц” Фонвизин так оправдывается: “По ответам вашим вижу, что я некоторые вопросы не умел написать внятно”. Может быть, он не умел изложить, как думал, говорит он, но думал честно, и сердце его исполнено благодарности и благоговения к великим делам Екатерины.

> “Ласкаюсь, что все те честные люди, от коих имею честь быть знаем, отдадут мне справедливость, что перо мое никогда не было и не будет смочено ни ядом лести, ни желчью злобы”.

На вопрос пятый Фонвизина: “Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства”, вызванный, очевидно, изучением системы законов во Франции и желанием гласности, которую имел он случай там наблюдать в то время, когда процессы Вольтера и других делали столько шума во всей Европе, Екатерина отвечала: “Для того, что вольных типографий до 1782 года не было”. Этот ответ, совершенно неопределенный, дает повод Фонвизину в его письме возликовать. Он видит в нем обещание и уже в самых высокопарных выражениях восхваляет намерения Екатерины. Мало того, он видит уже и результаты будто бы совершенного деяния.

“О если б я имел талант ваш, господин сочинитель “Былей и небылиц”, — восклицает он. — С радостью начертал бы я портрет судьи, который, считая все бездельства погребенными в архиве своего места, берет в руки печатную тетрадь и вдруг видит в ней свои скрытые плутни, объявленные во всенародное известие. Если б я имел перо ваше, с какою живостью изобразил бы я, как пораженный сим ударом бессовестный судья бледнеет, как трясутся его руки, как при чтении каждой строки язык его немеет и по всем чертам его лица разливается стыд, проникнувший в мрачную его душу, может быть, первый раз от рождения! Вот, господин сочинитель “Былей и небылиц”, вот портрет, достойный забавной, но сильной кисти вашей!”

Вопросом о шпынях, по словам его, хотел он лишь показать несообразность балагурства с высоким чином. Неудачу формы выражения объясняет он, ссылаясь на слова Екатерины, которыми она ответила на один из его же вопросов, а именно тем, что “везде, во всякой земле и во всякое время, род человеческий совершенным не родится”. Благоразумные ответы, говорит он, убедили его *внутренно(?),* что он не сумел исполнить доброго

намерения и дать вопросам приличного оборота.

Это “внутреннее убеждение” заставило его решиться другие заготовленные прежде вопросы не задавать, не из страха быть обвиненным, так как совесть его спокойна, но для того, чтобы не подать повода другим к “дерзкому свободоязычию”. Решение не публиковать заготовленные вопросы, конечно, напрашивалось само собой, помимо всяких соображений. Екатерина II была великодушна в подобных случаях, как лев к собачонке, но испытывать дважды ее терпение было бы небезопасно.

Фонвизин кончает письмо утверждением, что одобрение автора, чьи творения вмещают пользу и забаву “в возможной степени совершенства”, для него так дорого, что малейшее неудовольствие с его стороны приведет к твердому решению “во всю жизнь за перо не приниматься”. Отнюдь не было бы удивительно, если бы так оно и случилось. Известно, насколько преждевременным был энтузиазм Фонвизина по поводу надежд на гласность в тяжебных делах, — вскоре и сами вольные типографии были упразднены.

Желание видеть личное неудовольствие во всяком протесте или критическом отношении к строю Екатерина обнаружила, быть может, в первый раз явно в истории с “Вопросами”. Она немедленно заподозрила авторство Шувалова только потому, что ее собственное отношение к этому вельможе было всегда подозрительным. Ей доносили, что он и княгиня Дашкова считают себя главными виновниками ее воцарения. Между тем Шувалов даже отсоветовал нашему автору посылать “Вопросы” в “Собеседник”.

Императрица приняла милостиво раскаяние Фонвизина, но высоко подняться в своем положении при дворе он уже не смог никогда, тем более что был верным учеником и товарищем графа Никиты Панина. Уже раньше ему приписывали сочинение для великого князя, под руководством Панина, рассуждения, в котором затрагивался “основной принцип нашего государственного устройства”.

Говорят, Екатерина, узнав об этом сочинении, сказала в кругу царедворцев: “Плохо мне приходится жить! уж и г-н Фонвизин хочет меня учить царствовать”. Если вспомним ее ответ Дидро, то поймем, как смотрела она на подобные попытки со стороны своих слуг. Никиту Ивановича Панина она недолюбливала, но ей приходилось с ним считаться.

Фонвизин составил жизнеописание графа, в котором говорит между прочим: “Время жизни его так еще ново, что важные причины не допускают открыть подробности всего того, что, без сомнения, чрез некоторое время история предать потомству не

оставит”. Известно, что Панину действительно принадлежал проект реформы государственного устройства, на который большое влияние оказало его двенадцатилетнее пребывание в Швеции в звании посланника.

“Шведский период свободы” — эпоха шляхетской демократии, когда Швеция была аристократической республикой с жалким подобием короля, — не мог не произвести впечатления на Панина. По возвращении из Стокгольма разница между Швецией и Россией бросалась Панину в глаза: ему уже невыносимо холопство вельмож, его коробит наглость Шуваловых, его оскорбляют капризы временщиков.

Панин был человек совершенно другого характера — прямой, честный и самостоятельный в действиях. Несомненно, он осуществлял в себе тот идеал дворянина “старого времени”, который, к неудовольствию Екатерины, представлялся Фонвизину, когда он задавал вопрос “об упадших душах дворянства”, о том, “почему многие добиваются милостей императрицы не одними честными делами, но обманом и коварством”. Само обращение к гласности в тяжебных делах, как и вопрос о том, “почему в век законодательный никто не помышляет отличиться в сей части”, принадлежат сфере влияния Панина, как это ясно, мне кажется, из “Жизнеописания”.

Проекты и планы Панина понуждали также Фонвизина изучать юриспруденцию и законы за границей. К числу вопросов того же рода относится и семнадцатый: “Гордость большей части бояр где обитает — в душе или голове?” Все эти вопросы, как и прочие, изложены совершенно *внятно,* вопреки оправданию Фонвизина.

Корыстолюбие фаворитов и вельмож, отсутствие контроля и всякой распорядительности, кроме личной воли Екатерины, одновременно с этим отсутствие гласности — таков был порядок вещей.

В “Жизнеописании” Фонвизин справедливо говорит о Панине:

> “По внутренним делам гнушался он в душе своей поведением тех, кои по своим видам, невежеству и рабству составляют государственный секрет из того, что в нации благоустроенной должно быть известно всем и каждому, как то: количество доходов, причины налогов”, и пр. Следующая тирада о Панине содержит в себе не менее существенный предмет сатиры Фонвизина и других.
>
> “С *содроганием* слушал он о всем том, что могло нарушить порядок государственный: *пойдет ли кто с*

докладом прямо к государю о таком деле, которое должно быть прежде рассмотрено во всех частях Сенатом; приметит ли противоречия в сегодняшнем постановлении против вчерашнего; услышит ли о безмолвном временщикам повиновении тех, которые по званию своему обязаны защищать истину животом своим; словом, всякий подвиг презрительной корысти и пристрастия, всякий обман, обольщающий очи государя или публики, всякое низкое действие душ, заматеревших в робости старинного рабства и возведенных слепым счастием на знаменитые степени, приводили в трепет добродетельную его душу".

Сравнивая эти речи с "Вопросами", нельзя не усмотреть в последних почти прямое переложение и, следовательно, огромное влияние этой светлой личности с сильным характером на нашего автора, которому характера-то как раз и недоставало. И если Фонвизин несколько изменил себе в оправдательном письме своем к императрице, то нельзя не признать, что в целом он все же был близок по духу к этому образцу. "Он не имел, — как говорит о нем г-н Пятковский, — тех специфических свойств придворного литератора, которыми владел с избытком Державин. Фонвизин был слишком прям, угловат, мало кланялся и мало унижался. Он как будто требовал, а не выпрашивал уважения к своему таланту и к себе". Он не умел говорить истину царям с улыбкой, хотя по натуре не способен был также и к горячему негодованию Радищева или энтузиазму А. Тургенева. Умный и рассудительный Фонвизин не решался более выходить из рамок, отмежеванных сатире XVIII века, не решался более разлучаться на своем пути с тою прекрасной женщиной, чье имя Осторожность, следуя совету издателя "Живописца", но его ум и талант нашли полное выражение в комедии "Недоросль".

"Недоросль" и "Горе от ума" живут под одною крышей и отнюдь не случайно обращаются под одним корешком на книжном рынке. Это те поверстные столбы общественного развития, по счастливому выражению автора монографии о Сумарокове, которые указывают преемственное развитие литературы и общества. После Фонвизина комедия продолжала разрабатывать типы, указанные Сумароковым и сатирой первого десятилетия царствования Екатерины, но вплоть до "Горя от ума" сцена уже не видела больше столь яркого протеста против угнетения и произвола, которые продолжали, однако, существовать.

И все же "философия на троне", Фонвизин и его комедия как

выражение нравственной идеи явились не чем иным, как результатом общего движения века. С воцарением Екатерины вступила на трон и просветительная философия. Императрица стала достойной продолжательницей дела Петра Великого. “Новые начала и взгляды поражают нас уже, лишь только прикоснемся к ветхим листам петровского времени. Чувствуешь, что чем-то молодым, свежим, свободным пахнуло в дремотной, заповедной тиши”. Европа и особенно Париж становятся обетованною землею всех выдающихся по стремлениям людей.

Правительство часто содействует, но и личная инициатива очень сильна. Ломоносов узнает свое призвание лишь в Германии. “Баснословно чудесными путями, чуть не пешком, перекочевывает в Голландию и потом в Париж другой основатель нового стиха — Тредиаковский; к выезжим французам идет в науку Сумароков, к немцам — Федор Волков. И когда они приходят к сознанию, что пора ученья и скитанья для них прошла, они закладывают фундамент обновленной словесности, внося каждый, по мере способностей, свой вклад: Кантемир — свои сатиры, Ломоносов — научную пропаганду и торжественную лирику, Тредиаковский — стихосложение, Сумароков — трагедию, Волков — национальную сцену.

Служба этих людей была велика, но узка была сфера, в которой они вращались. Коснемся вслед за ними какого-нибудь из произведений нашей просветительной поры, будет ли это екатерининский “Наказ”, статья ли сатирического журнала, — и мы тотчас почуем иные, более глубокие ноты. Дело идет уже о высших правах личности и народа, взвешиваются и определяются обязанности правителей, устанавливаются человечные отношения к низшей братии, преступнику, рабу, детям, выдвигается вопрос об освобождении крестьян; высшее дворянство и двор гнутся под ударами насмешек Державина и Фонвизина, темное и жестокое помещичество, вороватый суд обличаются журналами; развивается широкая и филантропическая образовательная деятельность первоначального масонства, которое видит перед собою одних братьев-людей там, где прежде были лишь господа и холопы; сильно затронуты вопросы о свободе печати, гласности суда, литература пытается усвоить себе самостоятельность, даже прямо оппозицию суждений, живительно действующих там, где все дышало однообразием мнений; пробужден интерес к жизни народа, и бытовая стихия внесена на сцену; сам Фонвизин пишет целую книгу о необходимости образовать среднее сословие. Сказывается во всем близость к жизни, пробуждение духа, сказывается и в литературной полемике, хотя бранчивой, иногда неприличной; и, наконец, в обилии переводов обнаруживается

горячее стремление к общению с целым миром”.

Фридрих Великий, получив “Наказ” от Екатерины, писал в Петербург своему посланнику графу Сольмсу: “Ни одна еще жена не была законодательницей, сия слава предоставлена российской императрице, которая ее, конечно, достойна”. Хвала эта была вызвана главным образом тем, что в свой “Наказ” Екатерина целиком внесла идеи энциклопедистов, которых ревностно изучала, будучи еще великой княгиней, вместе с княгиней Дашковой. Особенным любимцем ее был Вольтер; она называла его “Божеством веселости”, а о себе говорила также, что веселость — “ее сильная сторона”. Таким образом, в ее благосклонности к Вольтеру и Нарышкину, ее шуту, было кое-что общее. Стоит вспомнить, как она защищала “шпыней” и “балагурство”, утверждая, что для этого нужен ум. С другой стороны, насколько искренно и *глубоко* было ее увлечение энциклопедистами, видим не только из ответа ее Дидро и переписки с Гриммом, о которой академик Я. К. Грот говорит, что в ней прежде всего бросается в глаза *шуточный тон,* но и из дел ее, принявших совсем иное направление, когда то, чему она поклонялась, она же стала называть *“французским заблуждением”.*

К числу явлений, вызванных нравственным движением века, принадлежало масонство. Движение это было не свободно от крайностей, приблизивших его впоследствии к обскурантизму, но во времена Новикова оно было сильным образовательным средством и поэтому занимает почетное место в истории нашего общественного просвещения. Любовь, взаимное общение, стремление к гуманности и равенству были присущи этому явлению.

Принадлежность к масонству требовала серьезности мысли и чувства и известного настроения, к которому Фонвизин как раз был совершенно неспособен. Здесь обряд строго соединялся с нравственным обязательством, тогда как видимая набожность Фонвизина ни к чему его не обязывала, как показывает его собственное “Признание”.

Сама императрица никогда не благоволила к масонству как к явлению прежде всего не веселого характера, носящему меланхолическую печать, как не благоволила она по той же причине и к Руссо. Державин ставил ей в заслугу, что она:

> К духам в собранье не въезжает,
> Не ходит с трона на Восток.

Масонство, вольнолюбивые мечты, иногда “томная задумчивость” равно явились отражением просвещенного

сознания. Холодный, рассудочный ум Фонвизина удержал его от чересчур горячих увлечений, хотя не спас от ханжества и влияния мистика Теплова. Вследствие этого комедия “Недоросль”, хотя и явилась выражением общественного самосознания, лишена того горячего, живого чувства протеста, которое наполняет “Горе от ума”, лишена и той глубокой меланхолии, которая у Мольера дает читателю чувствовать сквозь зримый смех невидимые слезы. Как и сам Фонвизин, его “идеалы” — Правдин, Стародум, Милон, Софья — все “умны”, порядочны, но холодны, чересчур благоразумны и заученным манером излагают господствующую теорию “просвещенного деспотизма”. Казалось бы, у Фонвизина были под рукой прекрасные “подлинники” *новых* людей, таких, как князь

Козловский, и др. Хотят видеть в Стародуме портрет Новикова, но это лицо у автора совершенно неживое, это идеал резонера, а в наше время его можно назвать ходячим фонографом, так как большая часть его речей есть повторение чужих лоскутков. “Я должен сознаться, — говорит Фонвизин в “Письме сочинителя “Недоросля” к Стародуму”, — что за успех комедии моей одолжен я вашей особе. Из разговоров ваших с Правдиным, Милоном и Софьей составил я целые явления, кои публика и доныне охотно слушает”. Здесь были модные идеи воспитания, благодетельного отеческого или, вернее, *материнского* попечения власти о народе, который может многим наслаждаться в своей вольности “действительной”, *а не по праву,* как несчастные французы; добродетельные, но весьма патриархальные понятия о любви и супружеской жизни, где чувство взвешивалось на весах житейского рассудка. Недовольный современным “вольнодумством” Фонвизин придал речам Стародума особую окраску степенности патриархальной старины, соответственно этому и назвав его. Двойственность характера этого резонерствующего лица несомненно связана отчасти с личностью автора, отчасти с его желанием идеализировать старину, чтоб рельефнее оттенить недостатки настоящего. Проповедуя в значительной части “Недоросля” возвращение к темной старине, он нанес ей в то же время в этой комедии неизлечимый удар. Фонвизин осуществил в своей комедии ту цель, которую указали первым русским комикам в их борьбе с недостатками и пороками современной общественной жизни комедии де Туша, Реньяра, Пирона, Хольберга (в Дании), Шеридана и пр.

“Подлинники” и материал для “Недоросля” Фонвизин позаимствовал уже готовыми из журнальной сатиры и комедий самой Екатерины. Если холодный, рассудочный ум, как было

замечено, не допускал его до увлечений современными идеями, масонством и вообще каким-либо глубоким нравственным движением, то острота этого ума, наблюдательность и врожденный талант переимчивости — все влекло его к сатире.

Расцвет ума и таланта Фонвизина совпал с той именно порою, когда сатирическое направление праздновало победу над лирикой и дидактической поэзией, так как было признано, что "первому, т. е. сатире, можно скорее и больше сделать людей хорошо мыслящих, нежели второму".

До Фонвизина поэзию представлял Ломоносов, сатиру — Сумароков.

Фонвизин, по-видимому, принимал участие в "Живописце". По крайней мере в этом журнале было помещено его "Слово" на выздоровление цесаревича Павла, а некоторые сатирические письма в том же журнале живо напоминают слог и манеру его. Сатире приходилось, однако, бороться с направлением дидактическим. Противники ее говорили, что сатира ожесточает нравы, а исправляют их нравоучения.

Следы этого *нравоучительного* направления остались в речах Стародума, явно указывая на его силу и живучесть. Конечно, это много помешало цельности комедии и могло нравиться только современникам, для нас же представляется чем-то рудиментарным, интересным лишь как документ.

Впрочем, и почти в середине нашего века приходилось доказывать, что нравоучение мешает художественному изображению, ссылаясь, как это делает князь Вяземский, на слова Шлегеля: "Поэт должен быть нравствен, но из сего не следует, что все лица его должны постоянно поучать".

Зато "безнравственные" лица в комедии Фонвизина живут своею собственною жизнью и свидетельствуют о том, что,

> Уча, нас комик забавляет,
> Денис тому живой пример, —

как сказал Державин.

Рейхель давал Фонвизину в университете переводить нравоучительные книжки. Кто знает, какое фаустовское обновление могло ожидать Стародума и самого Фонвизина, если бы Лессинг принял приглашение в тот же Московский университет во времена студенчества нашего автора.

Как бы ни было, Фонвизин находился в фокусе явлений сатирической литературы, со всеми ее достоинствами и недостатками. К числу последних надо отнести то, что литература эта принуждена была идти на помочах. Среди

читателей своих “Трутень” именует первого “Славен”. Громкий титул ясно обнаруживает личность Екатерины. *“Славен* между важными делами читает и мои листки, но я не ведаю, что он о них думает, малейшую его похвалу почел бы я стократ больше похвал многих людей”. Автор или издатель тем более имел на это право, что от похвалы этого читателя зависело и существование журнала. *Славен* не похвалил…

Наши журналисты, добросовестно “подделывая” чужие образцы и в этом подражая иностранцам, повторяли прием немцев. Задачи просветительного направления были приблизительно одни и те же. В русской периодической сатире всех дальше пошел навстречу жгучим вопросам Новиков, и “Трутень” его коснулся крепостного права, но *Славен* не одобрил этой тревоги…

В Вольном экономическом обществе вслед за его образованием в 1768 году уже затронут был тот же вопрос. Но Екатерина II не думала еще о его разрешении и продолжала весьма щедро раздавать земли не только за заслуги людям, подобным Панину, но и фаворитам, просившимся в отпуск по расстроенному *на службе ее величеству здоровью.*

Движение этого рода в литературе остановилось до Радищева, который дорого заплатил за одно нежное чувство к мужику. Фонвизин немножко покривил душой, когда писал из Парижа, что, сравнивая положение наших крестьян в лучших местах с положением крестьян тамошних, находит состояние первых счастливейшим. Казалось, совсем другое говорили письма к нему же его почтенного друга, известного генерала Бибикова, усмирявшего Пугачева. “Побить их я не отчаиваюсь, — писал он, — да успокоить почти всеобщего черни волнения великие предстоят трудности… Ведь не Пугачев важен, да важно *всеобщее негодование,* а Пугачев — чучело, которым воры — яицкие казаки — играют”.

В “Наказе” императрица сама выражает опасение, что при заведенном порядке взимания оброков страна “через недолгое время должна обнажена быть от жителей”. Однако и в этом не последовало перемены.

Другой вопрос, которого коснулся Фонвизин в “Недоросле”, — воспитание. Князь Вяземский говорит, что ему указывали двух, трех стариков в провинции, которые, по преданию, послужили “подлинниками” Митрофанушки. Это было в двадцатых годах. Нескоро еще эти недоросли исчезли, и, конечно, среди юношей первой половины нашего века еще много было подобных же. Сам Митрофанушка также получил свои родовые черты в наследство. Он, по словам матери, “весь в дядю”,

то есть в Скотинина. Ведь и она по отцу из дома Скотининых. “Покойник батюшка женился на покойнице матушке, она была по прозванию *Приплодина.* Нас, детей, было 18 человек, да кроме меня с братцем все, во власти Господней, примерли: иных из бани мертвых вытащили; трое, похлебав молочка из медного котлика, скончались; двое о Святой неделе с колокольни свалились, а достальные сами не стояли”. Естественный результат такой семьи — она сама и Митрофан. О подобном воспитании говорят много журналы и комедии Екатерины. Записки Болотова и Данилова свидетельствуют, как мало карикатурное изображение изменило сущность дела. А забавы Митрофана! Одним из самых обычных и любимых развлечений того времени была псовая охота, на которую тратилось много времени и денег; другие любили смотреть гусиные и петушиные бои и гонять голубей, предавались этим занятиям со страстью и в них убивали скуку, порождаемую *праздностью.* Вопрос Фонвизина: “Отчего у нас не стыдно ничего не делать?” — не был, конечно, праздным, и, сопоставляя его со сказанным, можно поверить его словам в оправдании: “Разумел я, отчего праздным людям не стыдно быть праздными”.

“Всякая всячина” осмеивала тех, которые, оставляя город, спешат в деревню в сотоварищество стаи собак и “гоняются за зайцем, который никогда не бывал с ними в ссоре”. Такой деревенский “трутень” живет в развалившемся доме — ему некогда заниматься хозяйством, — изыскивает, может ли боец-гусь победить на поединке лебедя, для того выписывает из Арзамаса самых славных гусей и платит за них от двадцати и до пятидесяти рублей, и так далее.

А сон Митрофана! Суеверие рождало массу комических положений, очерченных также в журнальной сатире.

Поколение Екатерины, с нею во главе, мечтало создать “новую породу” людей воспитанием. В комедии заявляют об этом Правдин и Стародум. В “Наказе” говорилось: “Правила воспитания приуготовляют нас быть гражданами”. Но Фонвизин не избежал ошибки Бецкого и других, умалив значение образования ума и мечтая именно о новой породе… Стародум говорит: “Главная цель всех знаний человеческих — благонравие”. Идеальные требования чувства были, впрочем, естественным протестом против дикости нравов, полным олицетворением которых стала фигура Скотинина. Князь Вяземский остроумно сравнивает этого героя с театральными тиранами ложноклассической трагедии — он говорит о любви своей к свиньям, как Дмитрий Самозванец Сумарокова — о любви к злодействам. И при всей этой ужасающей карикатурности разве

он далек от подлинника? В идее воспитания без образования заключалась иллюзия некоторых западных филантропов, получившая в то время широкое развитие у нас в планах Бецкого и Екатерины II. Надо отдать справедливость людям прошлого века — они верили в человеческую натуру.

В своем плане воспитания великого князя граф Панин говорит:

“Воспитатель должен с крайним прилежанием и, так сказать, равно с попечением о сохранении здоровья его высочества предостерегать и не допускать ни делом, ни словами ничего такого, что хотя мало бы могло развратить те душевные способности к добродетелям, *с которыми человек на свет происходит”,* и так далее. Конечно, передовые люди, требуя прежде всего благонравия, не могли отречься также от образования. Фонвизин ставит, между прочим, вопрос: “Отчего в Европе весьма ограниченный человек в состоянии написать письмо вразумительное и отчего у нас часто преострые люди пишут так бестолково?” Были, однако, и обскуранты, отрицавшие совершенно науки. “Что в науках, — говорит *Наркисс.* — Астрономия умножит ли красоту мою паче звезд небесных? — Нет. На что же мне она? Математика прибавит ли моих доходов? — Нет. Чорт ли в ней?” — и так далее. Оказывается, не исчерпаны еще были мотивы сатиры Кантемира.

“И вы, *добрые старички,* — говорит “Живописец”, — думаете согласно со мною, но по другим только причинам. Вы рассуждаете так: деды наши и прадеды ничему не учились да жили счастливо, богато и спокойно; науки да книги переводят только деньги: какая от них прибыль? одно разоренье!.. Премудрые воспитатели! В вашем невежестве видно некоторое подобие славнейшия в нашем веке мудрости Жан-Жака Руссо: а он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны…”

Под словом “воспитание” разумели просто *питание.* “Могу сказать, — говорила одна барыня, — мы у нашего батюшки хорошо воспитаны: одного меду невпроед было”. Разве не буквально так понимает Простакова воспитание Митрофана? И вот злонравия и, прибавить можно, *невежества* плоды: “Трагическая развязка “Недоросля” — не редкость. Архивы уголовных дел наших могут представить тому многочисленные доказательства” (князь Вяземский).

Фонвизину было около 40 лет, когда он написал “Недоросля”. Этот период полной зрелости ума, характера и таланта был самым плодовитым и значительным в жизни Фонвизина как литературного деятеля. Вслед за “Недорослем”

появились знаменитые “Вопросы” и “Жизнеописание графа Никиты Ивановича Панина”, “Придворная грамматика” и “Российский сословник”. Все эти произведения, несмотря на разнообразие формы, затрагивают вопросы политической и общественной жизни народа, все они свидетельствуют о широком взгляде Фонвизина на обязанности и долг гражданина. В особенности выясняют они его взгляд на долг и на призвание писателя пером своим помогать, содействовать правительству, являясь выразителем общественных мнений и желаний, разъясняя в то же время обществу требования и благие начинания верховной власти. Но перемена в направлении действий императрицы быстро делалась явной, некоторые неблагоприятные черты характера Фонвизина мешали и ему оставаться постоянно и твердо на страже своего призвания. Подобно многим другим, он отступал немедленно, по указанию флюгера на перемену ветра, и если не изменял резко своим убеждениям, то и не отстаивал их, рискуя чересчур. Он провел свою ладью между опасными рифами довольно осторожно.

Сравнение его произведений крайне интересно. Особенно характерен последний его труд, появившийся в журнале “Друг честных людей”. Но раньше еще, также непосредственно вслед за “Недорослем”, он дал краткое резюме взгляда своего на достоинство писателя в “Челобитной российской Минерве от российских писателей”. Она напечатана была в “Собеседнике”, вслед за ответами императрицы на его “Вопросы”, и в книжке же поместил он оправдательное письмо свое к Екатерине. Порядок несколько не соответствовал сущности, так как это оправдание в “неясности” и раскаянье в “неуместности” вопросов было все же изменой тому делу, которое он защищал в “Челобитной”.

“Бьют челом российские писатели, а о чем, тому следуют пункты”, — таково начало “Челобитной”.

Автор жалуется на невежество некоторых вельмож. Они, заимствуя свет лишь от мудрости императрицы, возмечтали о себе и думают, что никаких знаний в делах не надобно, ибо они сами-де в делах, хотя и без знаний. Они считают всякое знание и особенно словесные науки чуть ли не уголовным преступлением и *нагло* приступили к определению следующих мер:

1) всех упражняющихся в словесных науках к делам не употреблять;

2) всех таковых, находящихся при делах, от дел отрешить.

Державин свидетельствует также в своих “Записках”, что князь Вяземский (его начальник, генерал-прокурор Сената) не мог равнодушно говорить со стихотворцем, привязывался к нему при всяком случае, “не токмо насмехался, но и почти ругал,

проповедуя, что стихотворцы неспособны ни к какому делу”. *Нельстецов,* автор “Челобитной”, просит российскую Минерву указом своим это “век наш ругающее” определение отменить, писателей же “яко грамотных людей повелеть по способностям к делам употреблять, дабы именованные, служа российским музам *на досуге,* могли *главное жизни время* посвятить *на дело* для службы Вашего Величества”.

Итак, Фонвизин все-таки смотрел на литературу как на занятие побочное. Взгляд этот отвечал потребности времени в образованных людях прежде всего для службы гражданской. Фонвизину, кроме участия в проектах Панина, принадлежит, между прочим, проект “о почтах” и др.

Жалоба Нельстецова не относилась, конечно, к тем вельможам, которые или сами любили упражняться в литературе, или покровительствовали охотно талантам. Так, Фонвизин, хотя недоволен был одно время Елагиным, однако с признательностью вспоминает всегда этого человека. Последний упражнялся в писаниях франкмасонских, а также пробовал себя в драматическом жанре и покровительствовал Лукину, Фонвизину и другим. По ходатайству Безбородко в 1782 году Фонвизин получил (после “Недоросля”) пожизненную пенсию из “почтовых доходов” — половинное жалованье с прибавочным окладом, пожалованным ему ранее, а всего 1250 рублей в год.

Из всех произведений Фонвизина на долю “Недоросля” выпал, конечно, наибольший успех. Эта комедия представлена была в первый раз в Петербурге 24 сентября 1782 года “на щет (в бенефис) первого придворного актера Дмитревского, в которое время несравненно театр был наполнен и публика аплодировала пьесу метанием кошельков”. *“Характер мамы* играл бывший придворный актер Шумский и несравненно удовлетворил зрителей… Сия комедия, наполненная замысловатыми изражениями[20] (!), множеством действующих лиц, где каждый в своем характере изречениями различается, заслужила внимание от публики. Для сего принята с отменным удовольствием от всех и почасту на С.-Петербургском и Московском театре была представляема”.

ГЛАВА IV
Письма из Италии — Заключение

После “Недоросля” и “Вопросов” Фонвизин пять лет ничего не писал. Причиной охлаждения отчасти был, быть может, отказ поместить в “Собеседнике” его “Придворную грамматику”, а главным образом болезнь и новая поездка за границу, продолжавшаяся больше года. Широко прожитая молодость давала себя чувствовать страданиями, а затем и параличом. Во время болезни и дряхлости он нашел прекрасную опору в жене. Ею, вероятно, внушен афоризм, который он влагает в уста Стародума, что в супружеской жизни дружба более на любовь должна походить, нежели наоборот. Первая любовь осталась ему памятна до последних дней жизни, но в супружестве своем нашел он нежную дружбу и опору.

Целью второго путешествия Фонвизина была Италия. Путевой журнал, который он пересылает сестре, содержит даже крайне незначительные подробности пути, однако до Нюрнберга не представляет ничего интересного. Он сам пишет об этом из Лейпцига: “Не дивись, матушка. Вспомни, что, проехав из Петербурга две тысячи верст, дотащились мы, можно сказать, только до ворот Европы”.

Далее описание становится весьма интересным. Только, к сожалению, не всегда можно быть уверенным, что оно принадлежит перу Фонвизина, так как оказалось, что и тут он иногда умеет воспользоваться чужим материалом и заимствует картинные описания у разных авторов. Восторгаясь видами природы, произведениями великих мастеров, историческими памятниками и т. п., Фонвизин “по пути” не перестает бранить Италию — страну и народ.

Несомненно, он не преувеличивает некоторых недостатков: бедность и грязь в этом раю, среди чудес и чарующего волшебства природы, конечно, особенно поражают иностранца. Но Фонвизин не довольствуется одними фактами.

Автор разумного вопроса — “как истребить два сопротивные и оба вреднейшие предрассудка: первый, будто у нас все дурно, а в чужих краях все хорошо; второй, будто в чужих краях все дурно, а у нас все хорошо” — старается изобразить итальянцев в самом черном свете. Казалось бы, после отзыва его о французах уже ничто не может быть хуже; нет, оказывается, что “развращение народов в Италии несравненно больше самой Франции”. Убийства часты в Италии и теперь, но Фонвизин, рассказывая о

них, прибавляет: “Итальянцы *все* злы безмерно и трусы подлейшие”. “Честных людей во всей Италии так мало, что можно жить *несколько лет и ни одного не встретить”.* “Знатнейшей породы люди не стыдятся обманывать самым подлым образом”, и т. п.

Как ни бранит он Европу, однако масса подробностей в его же письмах прекрасно оттеняет культурную жизнь уже в начале пути, в остзейских провинциях. “В Фрауен-бурге обедали мы у почтмейстера, старика предоброго, который утешается тем, что воспитывает дочь свою, учит ее бренчать на клавикордах и петь…” “Ночевать приехали в Шрунден. Поутру жена тутошнего диспонента Фоки прислала к моей жене блюдо плодов и цветов”. Фонвизин описывает всю семью, любезность, прекрасный домашний порядок и т. п. Лейпциг, которому так досталось в первый приезд, теперь он не ругает, радуясь тому, что он у ворот Европы. “Лейпциг всех сноснее”, — говорит он. “Вообще сказать могу беспристрастно, что от Петербурга до Нюренберга баланс со стороны нашего отечества перетягивает сильно. Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в припасах; словом, *у нас все лучше и мы больше люди, нежели немцы”.*

Отдав дань “патриотизму”, он снова описывает беспристрастно в настоящем смысле слова, и тогда выходит, что там многое лучше и *они* больше люди. В Лейпциге он находит русского кучера, который привез из Москвы профессора Маттеи, и нанимает его до Нюрнберга. Этот кучер, крестьянин Нарышкина Калинин, обещает побывать в Москве у родных Фонвизина, который о нем пишет:

> “Борода его, наконец, нам и надоела: смотреть его собиралось около нашей кареты премножество людей; маленькие ребята бегали за ним, как за чудом. Он так зол на немцев и такую к ним имеет антипатию, что иногда мы, слыша его рассуждения, со смеху помирали.
>
> По его мнению, русских создал Бог, а немцев — чорт. Он считает их за гадин и думает, что, раздавя немца, Бога прогневить нельзя”.

Выехав в июле, Фонвизин в сентябре приезжает в Баден, откуда до Рима еще месяц пути. Отсюда автор посылает сестре журнал свой с описанием *Нюренберга.* Здесь познакомился он с картинами Альбрехта Дюрера, “славного больше за старину, нежели за искусство, потому что в его время живопись в Европе была еще в колыбели. Он родился в здешнем городе, работал много, и куда ни обернись — везде найдешь его работу”. Здесь же

Фонвизин восхищается с большим чувством своею гостиницей:

> “Мы пригласили Брентания (банкир его. — *Авт.)* к обеду. Я нигде не видел деликатнее стола. Какое пирожное! Какой десерт! О пирожном я говорю не для того только, что я до него охотник, но для того, что Нюренберг *пирожным славен в Европе(1)*. Скатерти, салфетки тонки, чисты, словом, в жизнь мою лучшего стола иметь не желал бы”. Путешествуя, Фонвизин на этот раз занимался коммерцией. Он закупал картины и отправлял их Клостерману в Петербург — для продажи. Недаром он и теоретически доказывал необходимость и пользу дворянам заниматься торговлей. С этой целью перевел он еще в молодости статью “Торгующее дворянство” аббата Куайе (Coyer) с предисловием “Юстия”. Фонвизин разошелся здесь с императрицей; в “Наказе” ее принято было воззрение Монтескье, который считал занятие торговлею гибельным для дворянского достоинства.
>
> Трезвый ум Фонвизина позволил ему легко отказаться от предрассудка и осуществить свои идеи на практике. Осматривая достопримечательности Нюрнберга, он в то же время посещал чердаки бедняков-художников и многое накупил. Ходил по церквам, по книжным лавкам, смотрел славный бронзовый фонтан, за который Екатерина предлагала тридцать тысяч. В Инсбруке он описывает горы и рассказывает легенду о Максимилиане I, который заблудился на высоте и был спасен мальчиком-пастухом, похожим на ангела; последнего потом нигде не могли найти. Фонвизин присутствует здесь на параде эрцгерцогини Елизаветы. “Я хотя прятался в народе, — пишет он, — но меня тотчас приметили… Весь двор ко мне обратился, и от всех показано было ко мне отличное внимание и учтивость”.

Эрцгерцогиня обратилась к нему сама и просила передать поклон брату ее, великому герцогу Тосканскому, и сестре, королеве Неаполитанской. “Я отвечал ей, что почитаю за великое себе счастье исполнить ее веление”. Перед выездом успел он “обежать” церкви — францисканскую, соборную, Frères servites, а также дворцовый сад и торжественные ворота. За Боценом последовали Флоренция, Пиза и Рим.

Во Флоренции Фонвизин нашел смесь жителей-немцев и итальянцев. “Образ жизни итальянский, — то есть весьма много

свинства. Полы каменные и грязные, белье мерзкое, хлеб, какого у нас не едят нищие, чистая их вода то, что у нас помои. Словом, мы, увидя сие преддверие Италии, оробели!"-патетически восклицает он. Путешественники наши посещают исправно театр, ярмарки, площади, монастыри, дворцы, сады и так далее. Во дворце епископа интересен, говорит Фонвизин, погреб его преосвященства, в котором несколько сот бочек с древними винами. "Меня потчевали из некоторых, и я от двух рюмок чуть не с ног долой. Казалось бы, что в духовном состоянии таким изобилием винных бочек больше стыдиться, нежели хвастать надлежало". Фонвизин даже Семку своего ведет смотреть древний амфитеатр. "От солнечного ли зноя или для такого дорогого гостя, как Семка, весь амфитеатр усыпан был ящерицами". Здесь Фонвизин наслаждался картинами Паоло Веронезе.

В Болонье Фонвизин три часа посвящает обозрению одной анатомической камеры. "В "Palais Zampieri" имели счастье видеть первую Гвидову картину, Петра Апостола. Многие знатоки почитают сию картину первою в свете, потому что в ней все части искусства соединены совершенно".

Никаких злодейств итальянцы над нашими путешественниками не учинили; тем не менее, говоря о прекрасном климате Италии и жалуясь лишь на комаров, Фонвизин прибавляет: "И комары итальянские похожи на самих итальянцев, также вероломны и также изменнически кусают. Если все взвесить, то для нас, русских, наш климат гораздо лучше".

Такой несносной скуки, в какой живут итальянцы, Фонвизин никогда не мог вообразить. "Из ста человек нет двух, с которыми было бы о чем слово молвить. В редких домах играют в карты, и то по гривне в ломбер!" "Скаредность" жизни его возмущает, и "если бы не дома нунция, английского министра и претендента во Флоренции, то бы деваться было некуда". Из Рима он все еще описывает чудеса Флоренции, а именно палаццо Питти с его "трибуной", картинами Рафаэля, дель Сарто, "Венерой" Тициана и др. Он велит списать для себя копии с нескольких картин, в том числе с "Богоматери" Карла Дольче. "Прекрасная Мадонна делла Seddia (Рафаэля) украшает одну залу. Этот образец имеет в себе нечто божественное. Жена моя от него без ума. Она стаивала перед ним по получасу, не спуская глаз, и не только купила копию масляными красками, но и заказала миниатюру и рисунок".

Наиболее сильное впечатление испытал Фонвизин в Риме, в храме Св. Петра.

"Кажется, что сей храм создал Бог для самого себя, — говорит он. — Здесь можно жить сколько хочешь лет, и всякий день

захочешь быть в церкви Св. Петра. Чем больше ее видишь, тем больше видеть ее хочешь; словом, человеческое воображение постигнуть не может, какова эта церковь. Надобно непременно ее видеть, чтобы иметь о ней истинное понятие. Я всякий день хожу в нее раза по два”.

Все эти чудеса не могли вернуть Фонвизину здоровья. Из Рима поехал он в Вену лечить слабость нервов и онемение левой руки и ноги. Отсюда послали его в Баден, который также не много принес ему пользы. Он вернулся в Москву, а в следующем году снова пустился по свету искать помощи. Это третье путешествие, так же как и поездка в Ригу, оставило в его журналах лишь следы болезни, занятой ежеминутно собой.

Мнения Фонвизина о “скаредности” европейцев, презрение к маркизе, которая обедает со служанкой у очага на кухне, к итальянскому угощению и игре в ломбер по гривне дают право князю Вяземскому сказать, что Фонвизин в новом мире не сбросил с себя ветхого человека, или, попросту сказать, “мерил все на русский аршин”. Особенно сильный упрек со стороны того же биографа вызывает он своими письмами из Франции, где, ложно толкуя явления, он — “дома бич предрассудков, ревнитель образования и т. д. — смотрит на все сам глазами предрассудка и только что не гласным образом, а отрицательными умствованиями проповедует выгоды невежества”. А между тем в Академии наук в Париже Фонвизин и Франклин сошлись “как два новые мира в виду старого; как предвещания, что есть еще много грядущего в судьбе человеческого рода”.

Фонвизин не нашел за границей потерянного здоровья и вернулся по-прежнему разбитый параличом и больной. Однако живой ум и темперамент подвинули его снова на литературные занятия. Он задумал журнал. Под последним разумелось не совсем то, что понимается под этим названием теперь. Прежде всего, издатель думал явиться также и единственным “сотрудником” своим. Несколько писем и статей сатирического направления должны были составить материал этого “периодического издания”. Автор назвал издание “Стародум, или Друг честных людей” и начал его “Письмом к Стародуму от сочинителя “Недоросля”. “Я должен признаться, — пишет он, — что за успех комедии “Недоросль” одолжен я вашей особе”, а именно *разговорам* Стародума с другими лицами комедии. Этим обращением поясняется и profession de foi[21] автора. Поэтому уже в извещении об издании автор имел право сказать, что напрасно предварять публику, какого рода будет это сочинение, “ибо образ мыслей и объяснения Стародума довольно известны”.

Журнал, однако, не был разрешен цензурой. Напрасно и в

“Письме”, и в ответе Стародума Фонвизин расточал бесчисленные похвалы Екатерине II, которая “сняла с рук писателей оковы и позволила заводить вольные типографии”. Это было уже накануне их уничтожения.

В речах Стародума в “Недоросле” он обличал вельмож и недостатки двора. Екатерина тогда отнеслась снисходительно к этой невинной критике на том же основании, на каком она дозволяла постановку трагедии, в которой были тирады против деспотизма. Она писала по этому поводу московскому главнокомандующему Брюсу: “В стихах этих говорится о тиранах, а Екатерину вы называете *матерью”*. Напрасно также Фонвизин повторял здесь снова мысль, высказанную им в “Челобитной российской Минерве”: “Я думаю, что таковая свобода писать, какою пользуются ныне россияне, поставляет человека с дарованием, так сказать, *стражем общего блага”*. Журнал, повторяем, остался в портфеле автора.

Если в “Стародуме” и “Челобитной” мы видим идеал достойного литератора, то само название журнала Фонвизина — “Друг честных людей” — уже сближает эту последнюю вспышку его таланта со всеми предшествующими сочинениями и указывает на идеал нравственного, достойного *человека.* Уже в его “Опыте российского сословника” особое место в этом смысле занимают определения слов “беспорочность”, “добродетель”, “честь”. Определения эти, как и большинство других, заимствованы из французского словаря Жирара и других сочинений *французских,* но это не меняет сущности дела. Фонвизин определяет *честь* как наивысшее благо. Иные качества достигаются воспитанием, законами и рассуждением, говорит он; другое дело *честный* человек: “В *душе его есть нечто величавое,* влекущее его мыслить и действовать благородно”, и так далее.

В “Недоросле” Стародум также говорит, что умному человеку можно простить, если он имеет не все качества ума, но “честный человек должен быть совершенно честный человек”. Наконец, Стародум там же заявляет: “Я друг честных людей”. Слова эти не были фразой для Фонвизина, и та же мысль проводится везде, особенно в “Жизнеописании графа Панина”, а также в “Вопросах”, где он говорит: “Имея монархинею *честного* человека…”, и так далее. Из тех же “Вопросов”, из речей Стародума, письма Взяткина и “Придворной грамматики” видим, как отразились идеи и потребности просветительной поры на этом представлении о чести. Все факты и явления общественной и государственной жизни того времени свидетельствовали о полнейшем извращении этого понятия. “Сколько мне бесчестья положено *по указам,* об этом я ведаю”, — говорит Советник в

“Бригадире”. “Я видел, — пишет Фонвизин в письме к сочинителю “Былей и небылиц”, — множество дворян, которые пошли тотчас в отставку, как скоро добились права впрягать в карету четверню”. В таком честолюбии откровенно сознается *Сорванцов* в “Разговоре у княгини Халдиной”. “Я решился умереть, — говорил он, — или ездить по-прежнему шестеркой”. Фонвизин видел многое другое, “и это растерзало его сердце”. Да, то были все “подлинники”, и нельзя было спросить: “С кого они портреты пишут, где разговоры эти слышат?…”

Однако у передовых людей представление о чести сводилось скорее к представлению о сословном благородстве. Майков говорит: “Крестьяне *такие же люди;* их долг нам повиноваться и служить исполнением положенного на них оброка, соразмерно силам их, а наш — защищать их от всяких обид, даже служа государю и отечеству, *за них* на войне сражаться и умирать *за их* спокойствие”. А они сами в это время пасли стада у ручейков!..

Совсем иначе, правда, говорит *Безрассуд* в “Трутне” о народе: “Я — господин, они — мои рабы, я — человек, они — крестьяне”. Смысл в сущности тот же, несмотря на радикальное различие в выражении. Фонвизин ни разу не затронул вопроса о крепостном праве, как это сделал “Трутень”.

“Безрассуд, — говорит последний, — болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но *крестьяне, а* что такое крестьяне — о том знает он только потому, что они крепостные его рабы”, и так далее.

Безрассуду дается совет всякий день по два раза разглядывать кости господские и крестьянские, покуда найдет он различие между господином и крестьянином. “Живописец” рассматривает тот же вопрос более глубоко, со стороны государственной.

Позиция Фонвизина ближе всего к позиции Майкова. Ему, быть может, и нельзя было бы сделать никакого упрека, если бы он не выходил за рамки художественного творчества. “Недоросль” в этом смысле сослужил ту же службу, какую в нашем веке сослужили “Записки охотника”, но как от автора-“резонера” и политического сатирика от Фонвизина можно требовать большего.

Гораздо более широко развернулся автор в осмеянии нравов вельмож и фаворитов, и еще острее его язык в борьбе со взятками и лихоимством, коренным злом того времени, переданным, впрочем, в наследие нашему веку. Даже в письмах из Франции, к которой он так мало расположен, Фонвизин говорит о *тяжебных делах:* “Правда, что у нас и у них всего чаще обвинена бывает сторона беспомощная; но во Франции прежде нежели у правого отнять надлежит еще сделать много церемоний(!), которые обеим

сторонам весьма убыточны. У нас же по крайней мере в том преимущество, что действуют гораздо проворнее и стоит вступиться какому-нибудь полубоярину, *сродни фавориту,* и дело примет сейчас нужный оборот". Скажут, говорит он, что французы превосходят нас красноречием, они витии, а наши стряпчие безграмотны, но это хорошо лишь для французского языка: "При бессовестных судьях Цицерон и Бахтин равные ораторы". Кроме чисто литературных нападений на фаворитов в речах Стародума и "Придворной грамматике", Фонвизин пишет в письме к графу Петру Панину, по-видимому намекая на Потемкина, враждовавшего с графом Никитой Паниным: "Как бы *фавёр* ни обижал прямое достоинство, но слава первого исчезает с льстецами в то время, когда *сам фавёр исчезает,* а слава другого — никогда не умирает".

В тех же письмах есть фраза, имеющая глубокое значение не только для того времени: "Божиим провидением, — пишет он, — все на свете управляется, но надо признаться, что *нигде сами люди так мало не помогают Божию провидению, как у нас".* В связи с этою мыслью находятся его "Вопросы" и требование, или, вернее, *желание* гласности в делах внутренних, политических и тяжебных.

Уже в первом произведении своем изобразил Фонвизин крючкотвора и лихоимца — наследие допетровской поры. *Сорванцов* — портрет "современного" судьи, получившего "французское" воспитание у Шевалье Какаду, бывшего кучера, и дополнившего образование посещением салонов и уборных модных щеголих. У него "любезный" характер, то есть уменье волочиться, но ни тени знания не только законов, но и грамматики. Фонвизин обрисовал его в комической сцене "Разговор у княгини Халдиной", — сцене, которая и теперь читается с интересом благодаря живому юмору автора. Рядом с этою сценой Фонвизин на склоне лет дает еще раз картину модного воспитания в письмах Дурыкина к Стародуму. Горячо отстаивает Фонвизин необходимость *русского* воспитания в смысле знания родного языка и образования национального характера без нелепого коверканья на чужой лад, и, конечно, *горячпас сееибо* следует сказать ему за это рвение. Необходимо заметить, однако, что само письмо Дурыкина заимствовано у немецкого сатирика Рабенера, лишь имена переделаны на русский лад.

Кроме того, Фонвизин в этом направлении продолжает дело Сумарокова, который с большим даже одушевлением отстаивал русский язык и нравы.

Как модное воспитание, так и то, которое было одним

“питанием”, усердно и свободно осмеивались не одним Фонвизиным. “Ну, Фалалеюшка! Вот матушка твоя и скончалась: поминай как звали. Я только теперь получил об этом известие: отец твой, сказывают, воет, как корова. У нас такое поверье: которая корова умерла, так та и к удою была добра. Как Сидоровна была жива, так отец твой бивал ее, как свинью, а как умерла, так плачет, *будто по любимой лошади!”* Вот та среда, откуда взял Фонвизин своего Скотинина. Лихоимство также широко осмеивалось в сатире, но стрелы ее были не опасны, так как не метили в лица и факты. Фонвизин понимал неуязвимость зла при отсутствии твердых законов и гласности в делах. Он мечтал и о введении юридических наук в университете, но, как выразился Здравомыслов, обращаясь к Сорванцову, боялся “без особого побуждения”, то есть без личного согласия Екатерины, предложить свой проект, чтобы вместо удовольствия не нажить неприятностей от людей, “кои, сами пресмыкаясь в невежестве, думают, что для дел ничему учиться не надобно”. Фонвизин, знал, конечно, что Фридрих Великий, выражая удивление “Наказом”, писал в то же время императрице, что “добрые законы, начертанные в “Наказе”, имеют нужду в юрисконсультах” и ей остается *только* для выполнения их на деле завести Академию прав.

Фонвизин не дожил до гласности в тяжебных делах, под которою разумел не гласный суд, но печатание по крайней мере решений и мотивов.

В пределах своей сатиры он достиг совершенства в “Письме Взяткина к покойному Его Превосходительству”. “С крайней радостью сердца, чему свидетель Господь-Сердцевидец, — пишет Взяткин, — услышал я с женой улитой и детьми обоего пола, что Ваше Превосходительство, так сказать, из ничего, по единой благости Божией, слепым случаем произведены в большой чин и посажены знатным судьей, без всяких трудов, по единой милости Создателя, из ничего всю вселенную создавшего”. Он просит его превосходительство о разных делах и прилагает “реестр для напоминания” с означением *цен.* В этом реестре — целая поэма криводушия, наглого хищничества и воровства. Здесь и межевое дело с “беззаступными” помещиками. Вместо документов, которых теперь истец *нигде отыскать не может,* “да заступит едино предстательство Вашего Превосходительства за… 500 рублей”. Тут и рекрутский набор, и таможенные сборы, и “кормление” в воеводстве, и взыскания “бесчестья” за пощечину. Его превосходительство отвечает в том же духе. Относительно дела асессора *Борова* он пишет, что последний был ему приятелем с ребячества и может вполне на него рассчитывать и

благоденствовать, и т. п. Крепостных документов его превосходительство не спрашивает, а решает по другим документам, которых один представил 500, а другой — ни одного, а потому все законы возопиют против последнего. “Но документы эти не послужат нимало к убеждению секретаря; он человек совести весьма деликатной и за безделицу души не покривит, а потому требуется новая сотня документов”, и так далее.

Журнал оказался последним литературным детищем Фонвизина, если не считать, впрочем, неоконченную и незначительную комедию “Выбор гувернера”. Болезнь сделала его мнительным не только физически, но и в смысле “душевного спасения”. Говорят, что, сидя в университетской церкви, обращался он к студентам и говорил, указывая на свои разбитые члены: “Дети, возьмите меня в пример: я наказан за вольнодумство, не оскорбляйте Бога ни словами, ни мыслью”. В своем “Рассуждении о суетной жизни” он говорит, что лишение руки, ноги и, частью, языка считает он “действием бесконечного милосердия Господа, ибо лишился он этих членов в самое то время, когда, возвратясь из-за границы, упоен был мечтою своих знаний и безумно надеялся на свой разум”. Тогда “Всевидец, зная, что *таланты мои могут быть более вредны, нежели полезны,* отнял у меня способы изъясняться и просветил меня в рассуждении меня самого”.

В своем “Чистосердечном признании в делах и помышлениях” рассказывает он о родительском доме, детстве и юности своей, о службе у Елагина, увлечении вольнодумством и *излечении с* помощью сочинения Самуэля Кларка о бытии Божием и наставлений полусумасшедшего Теплова.

Он описывает некоторые свои увлечения как этого, так и другого рода, и говорит: “Глас совести велит мне сказать, что *до сегодня* от юности моея мнози борят мя страсти”.

“Грустно было первое впечатление при встрече с сею едва движущеюся развалиной”, — говорит в своих записках И. И. Дмитриев, которого Державин познакомил с Фонвизиным. Это был как раз *предсмертный* вечер последнего. Параличом разбитый язык его произносил слова с усилием, но речь его была жива и увлекательна. Он забавно рассказывал о каком-то уездном почтмейстере, который выдавал себя за усердного литератора и поклонника Ломоносова. На вопрос же, которая из од поэта ему больше нравится, отвечал почтмейстер простодушно: “Ни одной не случилось читать”. Очень интересовался Фонвизин тем, знаком ли Дмитриев с “Недорослем”, “Посланием”, “Лисицей-Казнодеем” и так далее. “Наконец спросил меня, что я думаю и о чужом

сочинении — о “Душеньке” Богдановича. “Оно из лучших произведений нашей поэзии”, — отвечал я. “Прелестна”, — подтвердил он с выразительной улыбкой. Он привез в тот вечер свою новую комедию (“Выбор гувернера”), и по знаку его один из вожатых прочел комедию. В продолжение чтения автор глазами, киванием головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились”.

Игривость ума не оставляла его в этот вечер. Рассказывал он, что в Москве не знал, куда деваться от молодых стихотворцев. Однажды доложили ему: “Приехал трагик”. “Принять его”, — сказал я, — и через минуту входит автор с пуком бумаг. Он просит выслушать его трагедию “в новом вкусе”. Нечего делать, прошу его садиться и читать. Он предваряет, что развязка его трагедии будет совсем необыкновенная — его героиня умрет *естественною* смертью! И в самом деле, — заключил Фонвизин, — героиня его от акта до акта чахла, чахла и наконец издохла!”

“Мы расстались с ним в одиннадцать часов, — заключает Дмитриев свои воспоминания, — а наутро он уже был в гробе[22]”.

“Житницы преданий наших пусты”, — говорит князь Вяземский. В свое время он имел еще, у кого искать *живые* воспоминания о Фонвизине. Он обращается *с* посланием к Княжнину, который был в дружеской связи с “Парнасским Бригадиром”:

> Нельзя ль изустное предать теперь бумаге
> И вытащить из памяти твоей,
> Что о Фонвизине лежит под спудом в ней.
> Ты одолжишь меня заслугою богатой.
> Писать его хочу я список послужной.

Благодаря этому “изустному архиву” известны остроумные экспромты Фонвизина. А. С. Хвостов назвал его в стихотворении “кумом музы”. “Может быть, так, — заметил сатирик, — только наверное покумился я с нею не накрестинах автора”. Рассказывают также, что, слушая чтение “Росслава” Княжнина, Фонвизин спросил, смеясь: “Когда же вырастет твой герой? Он все твердит: “Я — Росс, я — Росс!” Пора бы ему и перестать расти!” На эту шутку, не лишенную, впрочем, основания в связи с затянутостью трагедии, Княжнин находчиво ответил: “Мой Росслав вырастет совершенно тогда, когда твоего Бригадира произведут в генералы”.

И как художник-сатирик, и как выразитель самосознания личности в прошлом веке Фонвизин не бригадир только, но

первый по чину представитель литературы, “которая была учительницей народной и воспитательницей. Она была провозвестницей всех благородных чувств и побуждений; она развивала для общества высокие понятия нравственности, правды и добра; она указывала ему цели стремлений”.

notes

Примечания

1

Казнодей — человек оборотливый, трудолюбивый, наживающий и сберегающий *(Словарь В. Даля)*.

Здесь и далее простой звездочкой обозначаются примечания редакторов данного переиздания, а звездочкой со скобкой — примечания авторов очерков.

2

Приемы.

3

Екатерининский рубль составляет несколько рублей на наши деньги.

4

“Со своей женой и другой актрисой” *(фр.)*.

5

На природе *(нем.)*.

6

Отравитель *(фр.)*.

От фр. *offrir* — дарить.

8

Площадь Пейру *(фр.)*.

9

“Бесплатный дар” *(фр.)*.

10

Королевские указы об изгнании, о заточении без суда и следствия *(фр.)*.

11

От фр. *attention* — предупредительность, внимательность, чуткость.

12

Мадам! Я ваш покорнейший слуга *(фр.)*.

13

От фр. *mérite* — достоинство.

14

“Я служу только своему господину”.

Тела Господня *(фр.)*.

Горничной *(фр.)*.

17

Модисткам *(фр.)*.

18

Мы начинаем, а они заканчивают *(фр.)*.

19

Шпынь — трунила, злой насмешник *(Словарь В. Даля)*.

20

От глагола *изражатъ* — выражать, изъявлять, произносить *(Словарь В. Даля)*.

21

Кредо *(фр.)*.

22

Фонвизин умер в 1792 году, в возрасте около 48 лет (родился в 1744-м).